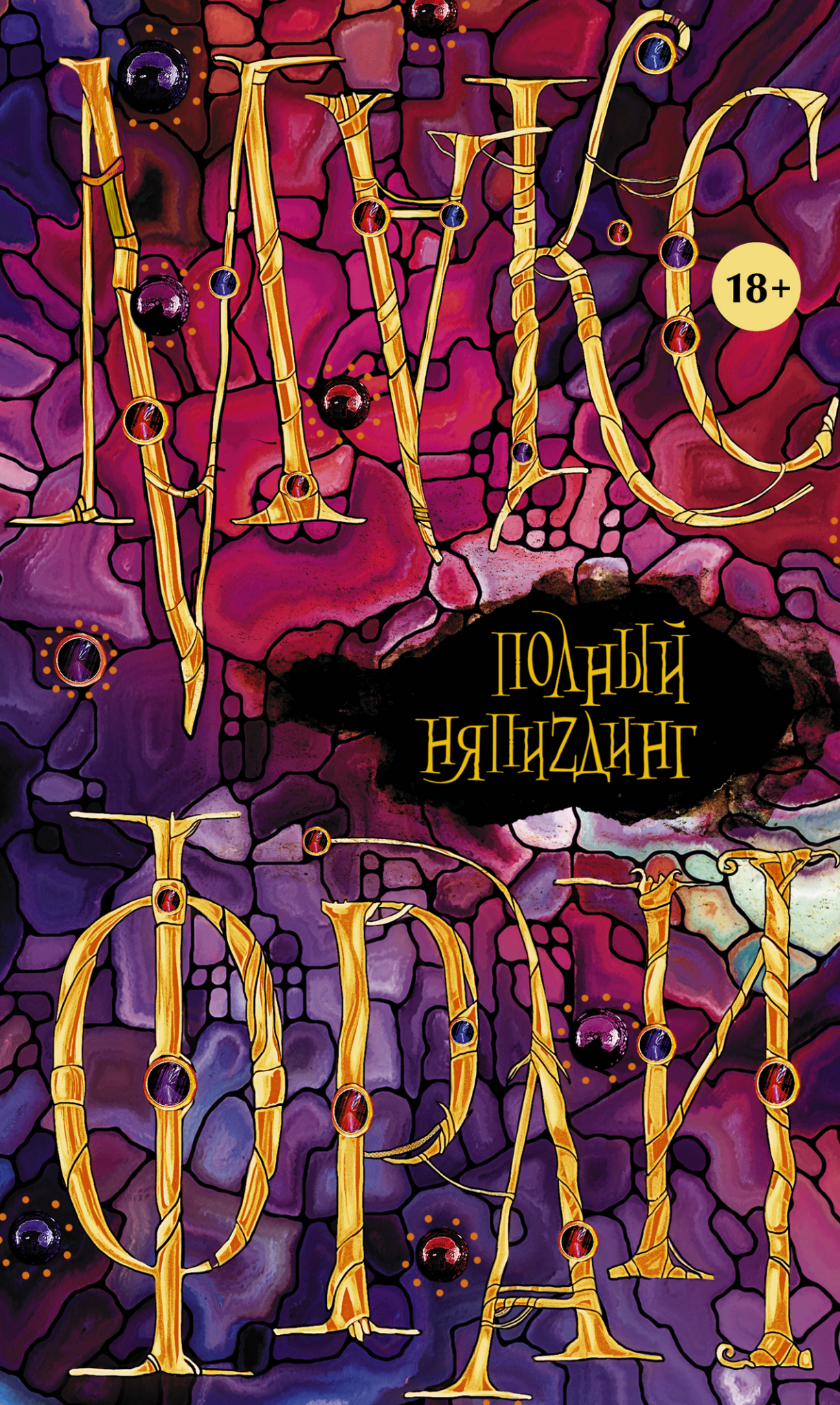


18+

ПОЛНЫЙ
НЯПЗДИНГ



Макс Фрай

Полный НяпиZдинг (сборник)

«Издательство АСТ»

2018

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

Фрай М.

Полный НяпиZдинг (сборник) / М. Фрай — «Издательство АСТ»,
2018

ISBN 978-5-17-111467-1

О содержании этой книги с уверенностью можно сказать одно: Заратустра ничего подобного не говорил. Но наверняка не раз обо всем этом задумывался. Потому что вопросы все больше простые и очевидные. Захватывающие погони ума за ускользающей мыслью, насильственное использование букв кириллического алфавита, жестокая трансформация смыслов, гроб на колесиках сансары, кровавые следы полуночных озарений, ослепительное сияние человеческой глупости – все вот это вот, непостижимое и неопределенное. Собственно, Макс Фрай всего этого тоже не говорил. Зато время от времени записывал – на бумажных салфетках в кафе, на оборотах рекламных листовок, на пополах слонов, поддерживающих земную твердь, на кучевых облаках, в собственном телефоне и на полях позавчерашних газет. Потому что иногда записать – это самый простой способ подумать и сформулировать.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-111467-1

© Фрай М., 2018
© Издательство АСТ, 2018

Содержание

НяпиЗдинг, сэнсэ	6
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Макс Фрай

Полный НяпиZдинг

© Макс Фрай, текст

© ООО «Издательство АСТ», 2018

НяпиЗдинг, сэнсэе



Капитан Очевидность умер, и теперь все позволено.

А

Автор текста должен быть равновелик (как минимум) своему замыслу, поднятая тема должна помещаться в него целиком. Это недостаточное, но совершенно необходимое условие успешного решения задачи.

Поэтому так много талантливых и интересных житейских историй (любого формата, включая дневниковые записи). И поэтому же очень мало кому удастся писать о любви и смерти так, чтобы читать не было стыдно, скучно и тошно.

И совсем уж мало кому – о непостижимом и неопределенном.

Точно знать, что в тебя помещается, а что нет, гораздо важнее, чем иметь большие размеры себя. Потому что размеры наращиваются постепенно, как мышцы в ходе тренировок, дело житейское. Но тренировки начинаются только после того, как заканчиваются мучительные и бессмысленные попытки засунуть слона в прикроватную тумбочку.

Б

Бог дается (или не дается) человеку в ощущениях, поэтому вопрос «есть ли Бог?» из числа самых бесполезных. Ощущения – штука зыбкая, переменчивая. То есть, то нет. То – бац! – опять есть.

Разнообразные ритуалы придумывались для появления сходных ощущений у достаточно большого числа представителей текущей культуры. Храмы замышлялись как «места силы», где ощущения обостряются. Вряд ли можно изобрести ритуал, который будет воздействовать на всех; с местом несколько проще, есть такие, где вообще все хоть что-то дополнительное чувствуют. Как интерпретируют – это уже не очень важно.

Вера, строго говоря, просто доверие собственным ощущениям. А дискуссии совершенно бесполезны, Бог – штукавина сугубо практическая, а не теоретическая, чего тут обсуждать.

Бог – это то, наедине с чем мы остаемся, когда нас нет.

А способов попробовать, что такое «меня нет» великое множество. Каждый в отдельности мало кому подходит; всякому подходит хоть что-нибудь.

Чего тут думать, прыгать надо, прыгать. Прыгать.

Больше всего на свете люблю, когда моя картина мира трещит по швам. Почаще бы она это делала!

Потому что, во-первых, у меня такая базовая картина мира, что... Короче. Свифта читали? Так вот, он по сравнению со мной суший ангельчик.

Примерно девяносто процентов осколков Андерсеновского зеркала осели в моих глазах. Остальные десять были честно поделены между прочим человечеством.

Я, конечно, умею приводить свою картину мира в более-менее пристойный вид. Каждый день этим занимаюсь с самого раннего детства. Такой тяжелый труд, что на остальные действия почти не остается сил. Хотя у меня их много.

Но даже будучи приведенной в порядок моя картина мира – и это уже во-вторых! – неполна и несовершенна. Потому что мне приходится пользоваться умом человеческим аналитическим одна штука. Другого не завезли. А человеческий ум просто не способен вместить картину мира, более-менее приближенную к полной и совершенной.

Поэтому всякое обрушение своей картины мира я считаю очередным уточнением.

И надо сказать, за годы жизни моя картина мира уточнилась, так сказать, в обе стороны. В смысле, все даже хуже, чем мне с самого начала казалось. Но при этом намного лучше! И это совсем не парадокс. А просто очередное уточнение.

Будем честны, почти никто из людей не имеет вообще никакого моста к своей подлинной природе (пока не займется специальными практиками, да и то большой вопрос, получится ли хоть что-то при жизни). При этом каждый человек ощущает дикий голод на этом месте (вопрос лишь в том, осознает он или нет, а если осознает, то под наркозом, или вживую).

Этот голод кормится, по большей части, фантазиями. Фантазии, конечно же, вполне себе могут подкрепляться удивительными ощущениями и прочей условной плотью. Потому что заполнить именно эту дыру человеку надо позарез.

Это вопрос не просто жизни и смерти, а бессмертия и небытия. Потому что за бессмертие отвечает подлинная природа, к которой у смертной сиюминутной личности доступа нет.

Собственно, все стоящие практики, как понимаю я сейчас, завязаны на вытаскивание бессмертного сознания в сиюминутность, где оно может сплавиться с личностью, и тогда бессмертной станет именно та личность, которая живет сейчас. А не только смутное и неопределенное богоподобное нечто, с которым она (личность) вообще не знакома.

Ну и понятно, что никаких серьезных разговоров на эту тему быть не может, пока нет безупречной внутренней честности, позволяющей сказать (себе же): вот это явно мои фантазии, а это просто сны, а вот это смутное незнамо что, может быть правда обо мне, а может быть тоже неправда, я пока просто не знаю.

Такая честность подобна самоубийству самурая, только еще жестче, потому что отсекает иллюзию собственного бессмертия, ставит лицом к лицу с небытием.

Если часто практиковать этот невыносимый пиздец, появляется небольшой шанс пойти дальше. Туда, где нас ждет уже не иллюзия. Вернее, не стопроцентная иллюзия, потому что немножко бессмертного невыразимого в ней тоже есть.

Наверное.

В

В ботаническом саду гуляла пара, мальчик и девочка. То есть, дяденька и тетенька лет двадцати с чем-нибудь, но в состоянии «мальчик и девочка». Очень радостные и довольные жизнью.

Потом они начали фотографироваться. Девочка зашла в самую гущу цветущих лилий и стала там подпрыгивать, размахивая руками и всем своим видом демонстрируя восторг. А мальчик фотографировал, стараясь, как я понимаю, запечатлеть момент прыжка.

Потом они вместе отсматривали результат, и девочка снова шла в цветы радостно прыгать, а мальчик снова щелкал кнопку. В перерывах они оба выглядели озабоченными, усталыми и даже раздраженными. То есть, как типичные дяденька и тетенька, если называть вещи своими именами.

Потом съемка наконец закончилась, парочка незамедлительно обрела прежнее блаженное состояние и отправилась бродить среди цветов и трав.

И вот в чем парадокс.

Правда состоит в том, что этим людям было очень хорошо сегодня в ботаническом саду. Фотография, над которой они бились, призвана, как я понимаю, задокументировать их в высшей степени позитивные переживания для дальнейшего предъявления гипотетической публике.

Однако для создания эффектной наглядной демонстрации состояния «нам очень хорошо» ребятам пришлось временно выйти из этого состояния.

То есть, в момент производства отчета о блаженстве хорошо им вовсе не было. Модель старательно изображала визуальные проявления радости, а фотограф старался сделать соответствующий радостный снимок. У них не получалось, но они пробовали снова и снова. Устали от неудач, были раздражены.

Однако в итоге фотография (если она все-таки получилась) станет совершенно правильным отчетом о счастливой прогулке в ботаническом саду, вот в чем штука.

То есть, людям пришлось соврать для того чтобы внятно и эффектно сказать правду.

На их месте мог быть (и регулярно оказывается) всякий художник.

В детстве мне часто снился сон про некрасивый массивный дом (так называемый «сталинский», как выяснилось много позже). Как я иду по улице мимо и смотрю на арку, которая ведет во двор, и у меня двойственное чувство – с одной стороны, дом кажется мне таящим угрозу, а с другой, очень притягательным. Так и тянет войти под эту арку, но я остаюсь на месте и просыпаюсь с чувством облегчения – уффф, пронесло.

Во сне мне было известно, что дом этот находится где-то в Одессе.

В Одессе мы тогда проводили около месяца в году – летний отпуск родителей. Мне там была знакома только дорога от нашего дома до пляжа «Дельфин», кладбище на Слободке, куда меня таскали родители, парк имени Ленина возле дома, где мы часто гуляли по вечерам, и улица Дерибасовская, куда мы иногда торжественно (на такси) отправлялись в кафе-мороже-

ное. Сталинского дома с аркой на этих маршрутах не было. Мне, конечно, хотелось его отыскать, но возможности ребенка в этом смысле крайне ограничены.

Потом, когда мы вернулись в Одессу, мне было уже девять лет, и мои исследовательские возможности существенно расширились. Но дом с аркой так и не попался мне на глаза, а потом сны о нем не то чтобы забылись, но перестали казаться чем-то важным, и поиски прекратились.

Когда мне было шестнадцать лет, мне дали на пару дней книгу стихов Арсения Тарковского. Неважно, кто дал и почему, скажу только, что владелец книги сильно переоценивал меня как потенциального читателя.

Поэзия меня в ту пору интересовала крайне условно. Ну, то есть, если пишешь свои стишки (а кто в шестнадцать лет их не пишет), надо иногда читать чужие. Из вежливости, что ли. И, по возможности, прилюдно хвалить – которые складные и не шибко скучные. Чтобы не подумали, будто тебя, кроме собственных стихов ничего не интересует.

Как-то, в общем, так обстояли мои отношения с поэзией.

И вот иду я по городу с книгой Тарковского в сумке. Из центра домой, на проспект Шевченко, незнакомым маршрутом. Потому что игра в Северо-Западный проход, позаимствованная из рассказа Уэллса «Дверь в стене» по-прежнему оставалась для меня столь же увлекательной, как в детстве. Пройти по незнакомым улицам, заблудиться, испугаться неведомо чего, обрадоваться, обнаружив знакомый переулок, и два часа спустя вернуться домой, как из далекого путешествия – это мне всегда было интересно; более того, жизненно необходимо.

На этот раз меня занесло в совсем уж незнакомый район. И в какой-то момент показалось нелишним отдохнуть, а заодно сообразить, куда идти дальше. И, самое главное, покурить. Пачка финского «Мальборо» стала таким важным атрибутом новой взрослой жизни, что не покурить в ходе героического путешествия по неисследованным землям было просто невозможно. А для этого требовалась скамейка, желательнее в более-менее уединенном месте, потому что перекур – это в первую очередь пауза. Отдых от человеческого мира и в некотором смысле от себя.

Укрытое место нашлось в огромном проходном дворе, занимающем пространство между двумя улицами. Как заведено в Одессе, двор был зеленый, как положено в середине дня, безлюдный, и скамейка там нашлась, вполне себе скрытая от посторонних глаз кустами изготавившейся зацвести сирени.

При этом просто сидеть и курить мне быстро надоело. Мне в ту пору нравилось гулять в одиночку, но довольно плохо получалось в одиночку сидеть на месте. Приходилось затыкать внутреннее молчание какой-нибудь книжкой. А книжка у меня с собой была – стихи Тарковского. Очень кстати! Вежливость требовала прочитать из нее хоть что-то. Чтобы потом, когда хозяин книжки спросит: «Ну как?» – можно было бодро отбарабанить: «Очень здорово, особенно вот это и вон то». И бойко добавить фактуру, позволяющую опознать якобы любимые стихотворения. Всякий, кто ухитрялся быть отличником в школе, открывая учебники только на переменах перед соответствующими уроками, хорошо знаком с этой техникой.

И вот открываю я книгу стихов Арсения Тарковского. От скуки и из вежливости. И читаю: «Я так давно родился, что слышу иногда, как надо мной проходит студеная вода», – ну и все.

В смысле, для меня наступила прекрасная вечность, проведенная на дне речном. «И город мне приснился на каменном берегу» – это был совершенно конкретный город. И «зеленый луч звезды» вдруг блеснул для меня в солнечном дневном одесском небе. И вообще все невозможное и немыслимое, что должно было случиться, случилось.

Это было полное и чистое разделение опыта с автором. Это было – восприятие. Это было то, ради чего мы все здесь, на этой прекрасной земле, собрались, хотя тогда мне, конечно, в голову не пришло бы думать такими категориями.

Это было одно из важнейших событий в моей жизни. Один из тех внутренних переворотов, которые кардинально изменяют человека и, соответственно, весь мир. Вернее, закладывают фундамент грядущих (и уже неизбежных) изменений. А когда берешься описывать их словами, то и сказать толком нечего.

Как мне сейчас.

В какой-то момент наступившая вечность все-таки сменилась нормальным течением времени, сигарета была докурена, книга отправилась обратно в сумку. Пора было идти дальше.

Поскольку одно из наиважнейших правил моей игры в Северо-Западный проход – не возвращаться, пока окончательно не зайдешь в тупик, пришлось поискать другой выход из двора. Выход нашелся – арка, ведущая на улицу (как потом оказалось, Сегедскую).

И уже на улице, когда стало примерно понятно, где я, и в какую сторону идти дальше, что-то дернуло меня обернуться.

Конечно, это был тот самый сталинский дом. И та самая арка. Во сне мне не хватало духу туда войти, а наяву входить было уже не нужно, потому что я – уже оттуда.

Очень хорошо помню, что это узнавание не вызвало во мне вообще никаких эмоций. Мне не было ни страшно, ни торжественно, ни даже интересно. Мне было все равно.

Все уже случилось, и существо, которое вышло из двора, скрытого за таинственной аркой, было равнодушно к обещаниям, которые неоднократно давали во сне ребенку, которым оно (существо) когда-то было.

Мне понадобилось очень много лет, огромная дистанция, отделяющая меня не только от ребенка-сновидца, но и от существа, вышедшего в тот день из-под арки, чтобы оценить наконец красоту обещания инициации и ее тихое, лишённое внешних атрибутов магии воплощение.

В маленьком супермаркете ККІ кассирша спрашивает: «А вам нужен ваш чек?»

Рассеяно киваю. Чек мне не то чтобы нужен, но я их всегда забираю. Не знаю, зачем. Просто по привычке.

Ее коллега из соседней кассы в ответ на мой кивок торжествующе ухмыляется и швыряет в мою кассиршу бумажным шариком – скомканным чеком. Прямо в лоб!

«Вам точно нужен ваш чек?» – переспрашивает моя кассирша, адресуя мне взгляд настолько выразительный и заговорщический, словно мы три года просидели за одной школьной партией. И теперь у нас фронтное братство на всю жизнь, не отменяемое дальнейшими житейскими обстоятельствами.

«О, конечно нет. Мне не нужен чек».

А кто на моем месте ответил бы иначе?

Кассирша улыбается столь ослепительно, словно ей только что была дарована власть над миром, и сейчас она наконец устроит все по-своему. Раз и навсегда!

Комкает мой чек и швыряет его в обидчицу. Один – один!

Глаза соперниц горят счастливым азартом – кому достанется следующий чек? Обе недлинные очереди, как нарочно составленные из граждан всех возможных цветов, возрастов и полов, добродушно ржут.

Больше всего на свете я люблю, когда люди ведут себя как живые люди. Когда увлекаются игрой, когда доверчиво приглашают в игру всякого незнакомца, не опасаясь, что он побежит стучать начальству. Когда не боятся ни незнакомцев, ни начальства, ни наказания за нарушение инструкций. Когда вообще ни черта не боятся – не потому что такие уж храбрые, а потому что испугаться просто в голову не пришло.

Никогда не устану этим любоваться. Никогда.

Потому что именно отвлекаясь на подобные пустяки, человек возвращается к своей подлинной природе, которая столь далека от прагматичной звериной повадки, все еще позволяющей успешно выживать среди себе подобных, что преодолеть это расстояние можно только за долю секунды или вообще никогда.

В окнах одного виленского кафе стоят огромные ведерные колбы из прозрачного стекла, заполненные винными пробками. Это довольно красиво; во всяком случае, такой дизайн в моем вкусе.

Но тут есть одна проблема: пробки слишком чистые.

Ну то есть, они совершенно чистые. Без винных пятен, свидетельствующих, что каждая пробка когда-то закрывала бутылку, которую однажды открыли и распили. За каждой испачканной пробкой была бы история: вот эту бутылку уговорили старые друзья после многолетней разлуки, а эта оказалась лишней и спровоцировала безобразную сцену, из этой сварили глинтвейн, согрелись и не простудились, а эту выпили вдвоем из горлышка и целовались после каждого глотка, эту бутылку разбили, не донесли до дома, и было очень обидно, или наоборот, смешно. И так далее, и так далее.

Мне достаточно увидеть винные пятна на пробках, чтобы сотни историй проявились, ожили и зашебетали в моем сознании. А когда я не вижу пятен, историй тоже нет, есть только дизайн – в данном случае удачный, но этого мало, как по мне.

С литературой то же самое; то есть, понятно, что с литературой – в первую очередь.

За каждым винным пятном, за каждой царапиной на штукатурке, за каждой трещинкой на асфальте может стоять история. «Может» – значит должна.

Рассказывать все эти истории читателю вовсе не нужно. То есть, некоторые можно и рассказать, если очень захочется и не помешает развитию основного сюжета. Важно однако не сколько раз мы проболтаемся, а сколько раз промолчим.

За каждым написанным текстом должны стоять дополнительные нерассказанные истории, которые оставили следы в сознании автора и, как следствие, в темной, непостижимой и нечитаемой, но явственно ощутимой глубине текста.

От этих нерассказанных историй текст обретает плотность и достоверность, именно они дают тексту жизнь; собственно, они и есть жизнь.

Дурацкий школьный вопрос «что хотел сказать автор?» может (строго говоря, должен) оставаться без ответа. Но чем больше существует ответов на вопрос «о чем промолчал автор?» – тем больше шансов у жизни победить смерть в отдельно взятом тексте.

В сумерках разгорается старый уличный фонарь.

Это происходит так: сперва он медленно наливается бледным голубоватым сиянием, трепещущим, как пламя свечи на ветру. Причем чем ярче светится, тем сильнее дрожит. Потом вдруг ррраз – и гаснет.

И пауза.

И когда наблюдатель уже уверен, что фонарь больше не загорится, тот быстро и уверенно наливается теплым оранжевым светом, таким ярким, что с непривычки приходится отводить глаза.

И это, конечно, очередная история о том, как все устроено – тут и не только тут. Везде, вообще.

В такую погоду как нынче тут у нас (пасмурно, сухо, плюс двадцать) мне обычно кажется, что именно сегодня – лучший день моей жизни, идеальный, по моим меркам скроенный, до миллиметра выверенный день, а я сижу на месте, как балда.

Ну или не сижу, а иду гулять, или, напротив, пишу что-нибудь, или отправляюсь по каким-то незначительным делам, позволяющим делать приятные остановки в кафе. И все это вместо того, чтобы...

Чтобы – что?

А вот даже не знаю, что именно. Забраться на самый высокий холм? Уехать за город и бегать по лугам, выкрикивая детские заклинания? Вылезти на крышу и сидеть там, замирая от сладкого ужаса, глядеть в небо, ожидая, пока оттуда спустится лестница, предназначенная для возвращения домой беспутных ангелов и загулявших бодхисатв? Прыгать на одной ножке на берегу реки, в надежде, что мои дикие выходы заинтересуют и приманят русалок? Бежать по центральному проспекту, как разгоняющийся для взлета самолет? Покупать имбирное печенье и рассылать его далеким друзьям в пухлых бандеролях?

Я и правда не знаю, что следует делать таким как я в дни, подобные нынешнему.

Когда узнаю, скажу.

В темноте

Вечером по улице Вильняус, кое-как освещенной витринами и редкими зеленоватыми фонарями, шел мальчик лет двадцати в слишком тонкой, не по сезону черной куртке с капюшоном и карманами на животе. Из-под куртки, впрочем, выглядывал толстенный зеленый свитер, скорее всего, домашней вязки.

Мальчик шел очень быстро, сунув руки в карманы, слегка ссутулившись, вернее, сложив все тело «лодочкой», как складывают ладонь, чтобы набрать воды. Я знаю этот способ согреться на зимнем ветру, мы тоже когда-то ходили так в своих тонких куртках по берегу моря, темного, как концентрат всех зимних ночей, холодного, как сосулька за шиворот, горького, как лекарство, не знаю уж, от чего.

У мальчика было собранное, спокойное и отрешенное, но слегка озабоченное лицо, как у самурая, который собрался совершить ритуальное самоубийство, осталось только написать последнее стихотворение, произнести его, и можно впускать в себя смерть. Но пока не удалось подобрать правильное слово для третьей (к примеру) строки, нужное на один слог длиннее, чем надо, а синонима нет, или просто не вспоминается – ну и вот.

Некоторые люди всю жизнь, с детства до глубокой старости подбирают это чертово слово, всегда готовые к смерти, но только не к торжеству несовершенства. Не худший, к слову сказать, удел.

Проходя мимо меня, мальчик вынырнул из своего внутреннего омута и отчетливо спросил:

– И что теперь?

– Все что угодно, – сказал дежурный по моей внутренней кухне, который всегда начеку, всегда готов прийти на выручку, если я не в форме и не понимаю, что происходит. – Все что угодно, – сказал он, и голос мой звучал куда тверже, чем в те дурацкие моменты, когда говорить зачем-то берусь я.

– Так и знал, – сказал мальчик.

И поспешил дальше.

А мы с дежурным по внутренней кухне пошли своей дорогой и купили себе у Маркса и Спенсера овсяного печенья, потому что жизнь продолжается, а значит, пора пить чай.

Вдруг дошло, что я – человек без прошлого.

То есть, события и факты я разумеется помню. Но они совсем не трогают меня. Прошлое – это неинтересно. Оно уже было, чего воду в ступе толочь?

Сделанное в прошлом по большей части хорошо, но тоже неинтересно – оно же уже сделано. А значит его все равно что нет. Или даже не «все равно что», а просто нет. И точка.

И так вообще всегда и со всем. Прожито, сделано, подумано, написано – прекрасно, унесите. Идем дальше. Там, впереди, еще столько всего!

Сейчас я все это новое проживу, сделаю, сформулирую, запишу, выдохну – и привет. Унесите. Дальше, дальше же! Что дальше?

Белая дыра, натурально.

Вечер воскресенья

На улице Вильняус подвыпивший человек в красной куртке громко кричал, грозя кулаками невозмутимому небу: «Завтра! На работу! Опять на работу! За что?!»

Вся скорбь мира сего – в этой незамысловатой сценке. Да такая густая, что когда горемыка ушел, она (скорбь) осталась лежать под фонарем уродливой темной кучкой.

Несколько минут спустя все на той же улице Вильняус хмельные от вдохновения мальчишки лет сорока тщетно пытались прервать обсуждение какой-то непостижимой штуковины

и попрощаться, подбадривая друг друга обещаниями: «Ну завтра на работе! С утра встретимся! И я тебе объясню! А я попробую вот так! И еще спросим...»

Темный комок всей-скорби-мира-сего, лежавший под фонарем, рассеялся под напором их энтузиазма.

Если к вам придет ангел с неба, добрая фея с волшебной палочкой, интеллигентный бес с прейскурантом на бессмертные души, золотая рыбка с новым корытом наперевес, или любой другой потенциальный исполнитель желаний, просите вдохновения, мой вам совет.

Остальное приложится.

А если не приложится, вы и не заметите.

Власть над миром заключается, кажется, в том, что становится плевать, будет ли по моему.

Внезапно вспомнилась история о том, как мой прадедусшка Джон встречал Новый год.

Дело было, видимо, уже в тридцатые годы, потому что именно Новый год он встречал, а не лютеранское свое Рождество.

Так вот, однажды прадедусшка Джон перепутал день.

Не то в доме не было календаря, не то дети вырвали лишний листок, об этом история умалчивает. Факт, что как-то раз утром тридцатого декабря прадедусшка Джон приволок из сарая елку и велел домашним ее наряжать. В то время елку было принято наряжать в день праздника, а не заранее, поэтому домашние поинтересовались: а почему не завтра?

Как – почему? Да потому что сегодня тридцать первое декабря. Какое такое тридцатое? Тридцатое было вчера. Вот какие растяпы мои девочки, чуть Новый год не пропустили.

– Какие соседи? Что они знают, эти соседи? – снисходительно отвечал прадедусшка Джон на предложение выйти во двор и спросить соседей, какое сегодня число. – Что ты мне вчерашнюю газету суешь? – строго вопрошал он жену, побежавшую за свежей газетой, как за последним аргументом. – Готовьте стол, а я пошел по делам.

И подмигнул так выразительно, что всем сразу стало ясно – на самом деле, не по делам, а за подарками детям.

Спорить с прадедусшкой Джоном было невозможно. Вы когда-нибудь пробовали спорить с человеком, которого однажды оштрафовали за вырванный из земли фонарный столб?

Ну и вот.

Поэтому вечером все члены семьи сели за стол и встретили Новый год на день раньше положенного. Если-пили, пели песни, танцевали, играли в лото и еще как-то развлекались. И дети нашли под елкой подарки. И все было хорошо.

На следующее утро прадедусшка Джон понял, что все-таки ошибся с датой.

– Ладно, – сказал он, – с кем не бывает. Есть еще что на стол поставить? Готовьте давайте, а я по делам.

И пошел покупать еще одну партию подарков детям.

И вечером все снова сели за стол и встретили Новый год. Если-пили, песни, танцы, лото, все дела. И дети снова нашли под елкой подарки. Всю жизнь потом вспоминали этот двойной Новый год, как лучшее событие своего детства. Такой был сюрприз!

Сейчас будет мораль, простая и несокрушимая, как золоченый новогодний орех.

Мы все время от времени ошибаемся, это естественный процесс. Поэтому следует учиться исправлять свои ошибки так, чтобы те, кто оказался рядом, вспоминали это потом всю жизнь с радостью и благодарностью.

Затем, собственно, и нужны нам ошибки – чтобы учиться выкручивать на крутых виражах, из отчаянного «нет» в блистательное «да». Такой сюрприз будет от нас всему этому миру.

Такой прекрасный сюрприз.

«Внутренняя правда», о которой так много сказано в дальневосточных источниках умных цитат, это не какая-нибудь «честность перед собой» или, не знаю, «верность принципам» из добрых книжек о хороших людях. Это вообще не про этику.

Это – о наборе действий и мыслей, которые приводят к оптимальному (на данный момент) течению энергии в организме.

О внутренней правде можно сколько угодно говорить, но пока не воспринимаешь течение энергии в собственном теле, как некоторый вполне обычный физический процесс, типа тепла, щекотки, погружения в воду и т.п., говорить вообще не о чем. Нет предмета разговора. При том что процесс (течения энергии оптимальным, но чаще совершенно дурацким образом) – есть. И он, конечно, непрерывный. И вся совокупность поведения и убеждений на этот процесс влияет, вот хоть убейся, влияет, и все тут.

И пока мы не следуем внутренней правде (о которой понятия не имеем, невзирая на разговоры), мы получаемся страшные дураки. Ну, как будто навозу поесть, чтобы подкрепить силы. И даже не факт, что свежего.

Но ради всего вышесказанного не стоило бы трудиться писать. Потому что все это и так понятно (мне), и формулировки уже давно не стремятся быть записанными, чтобы устаканиться по ходу и перестать крутиться в голове, нужной для других добрых дел, например, загрузки продовольствия.

Но.

Штука в том, что внутренняя правда подолгу одной и той же не бывает. Общей для всех – тем более, хотя случаются порой изумительные совпадения, свидетельствующие вовсе не о родстве душ, как принято говорить, а о родстве тел, которые – потоки.

На разных этапах жизни внутренняя правда разная. Поэтому за нее нельзя цепляться. То есть, цепляться нельзя даже за нее. В первую очередь – за нее, собственно.

Если объяснять на совсем уж простом примере, вот именно по этой причине многие люди разочаровываются в так называемых «идеалах юности». На их место обычно приходит разочарование и прочая высокая литература.

И разочарованный человек с горя выбирает для себя биологическое (то есть, более-менее способствующее физическому выживанию в социуме) поведение. И влачит унылое существование, вместо того, чтобы прислушаться к себе и подобрать новую оптимальную программу образа мыслей и действий, новый, актуальный на данном этапе идеал, которого не может не быть, потому что какой-нибудь способ поведения непременно приведет к правильному течению энергии. Надо только его найти.

То есть, ответ на вопрос: «Что такое хорошо, и что такое плохо?» – как ни удивительно существует. Просто он сугубо индивидуален и настолько переменчив, что, можно сказать, сиюминутен.

Нас, обладателей человеческих тел, убивает стремление оставаться последовательными. Потому что мы придуманы, чтобы прыгать и течь.

Вот какой-то человек выходит из дома в начале десятого вечера, потому что весь день сиднем сидел и работал – предположим, что так.

Какой-то человек на ходу придумывает себе повод куда-нибудь дойти, потому что иначе ноги его неуверенно сделают круг по ближайшему кварталу и поскачут домой – ура! дома можно еще поработать!

Такие уж удивительные у этого человека ноги.

Чтобы обхитрить ноги, человек думает: ладно, пойду например в универмаг через речку. Там можно купить табак, который заканчивается. И закончится буквально послезавтра.

«Так завтра купишь», – ворчит одна из ног. Кажется, левая, она больше правой любит, когда человек работает и можно никуда не ходить. Но поздно. Возбужденный словосочетанием «табак заканчивается» человек уже приближается к пешеходному мосту. И ступает на мост, и идет вперед, желая перейти великую реку. Он где-то читал, что хулы не будет. Он много разного в свое время читал, этот человек.

И взойдя на мост, слева человек видит небо, залитое струями солнечного света, как будто солнце – это просто такой фонтан. И его включили, потому что лето. И фонтан бьет.

А справа человек видит пасмурное небо и две радуги, длинную-яркую и короткую-бледную.

На правую ладонь человека падают дождевые капли. Одна, другая, десяток, второй! Но человек не спешит убежать в укрытие. Человек стоит на мосту и растерянно таращится на свою левую ладонь, совершенно сухую. И на свой левый рукав, тоже сухой. И на правый, уже совсем мокрый.

Потом дождь, прошедший с правой стороны, утихает, и человек идет дальше. В сухой левой руке он держит кошелек, а в мокрой правой руке ничего не держит. Уж больно она мокрая.

Потом этот человек придет на другой берег и купит там табак. Но это уже не очень интересно.

Считается, что этот наполовину промокший человек – я. Многие люди совершенно в этом уверены. А я не знаю.

Но это и не важно.

Время метать бисер

Пришло время метать бисер.

Потому что свиней на самом деле довольно мало. Зато очень много детей разного возраста. Педагогически запущенных и не очень. Разных, короче.

А дети из бисера феньки делают. Даже когда он жемчуг. И это не самое лучшее, но и далеко не худшее применение.

Поэтому – надо метать.

Все спят, и никто не видит, как на город спускается густой туман абрикосового цвета.

Первым исчезает собор Святого Казимира, потом крыши других зданий, фонари, про- вода и деревья, остается только дом, в котором не сплю я, и парочка соседних строений, тем- ных, тихих, плоских, как дешевые декорации.

Все спят, и никто не слышит, как истошно начинают орать птицы, обнаружившие, что от реальности почти ничего не осталось.

Некоторое время ничего не происходит, потом туман понемногу начинает редеть, по кусочку возвращая нам с птицами обетованную реальность. Ближе к утру даже намек на собор Святого Казимира появится (в прежние дни появлялся), хотя сейчас трудно поверить, что в том месте может быть что-то кроме влажной оранжевой мглы.

В предрассветных сумерках туман окончательно сдастся и неохотно сплюнет на мокрую траву пару-тройку ржавых гаражей, сизую стену и оставленный вчера возле нее мой автомо- бил. Тогда можно будет поехать домой и лечь спать, потому что знали бы вы, как сладко спится между концом одного света и началом другого.

Все живое

Некоторые (очень немногие, вряд ли больше десятка) блоги мне доводилось читать вглубь, вернее, из глубины, со дня основания. В процессе такого чтения всякий раз узнаешь поразительные вещи, причем не столько о конкретном человеке, сколько о путях развития и упадка человеческого духа и еще о собственной неведомо откуда (и так некстати) взявшейся способности любить все живое.

На каком-то этапе обременения знаниями такого рода, хочется не то чтобы умереть, спа- сая человечество, скорее просто оказаться у всякого, без единого исключения, смертного ложа, держать за руку каждого, чей путь окончен, утешать байками, в которых будет гораздо больше правды, чем способен вместить живой организм, а умирающему в самый раз.

Это, я отдаю себе отчет, только выглядит воспалением милосердия и братской любви, а на самом деле очень эгоистическое желание. Просто до чертиков надоело жить в мире, где почти нет ни деятельного утешения, ни даже внятного обещания его в финале, а потому люди вынуждены утешать себя сами – при том, что этого почти никто толком не умеет, и вместо утешения выходит оглушение. Все равно что трезвому в пьяной компании сидеть – поначалу забавно, потом бесит, потом на какое-то время перенимаешь общее состояние, потом выхо- дишь из него, и бесишься еще сильнее, потом бегаешь с мокрым полотенцем, пытаешься протрез- вить хоть кого-нибудь, а потом просто устаешь и начинаешь оглядываться – где тут у нас выход.

Можно предельно ограничить круг общения, можно запереться в башне из слоновой кости, можно бесконечно говорить с воображаемым другом, не препятствуя случайным сви- детелям подслушивать, и даже почти верить, что ваши с воображаемым другом усилия изме- нят мир (а они, кстати, изменят, вопрос, насколько значительны и заметны будут изменения, и правильный ответ на него, увы, лишен избыточного оптимизма). Да много чего можно, про- сто довольно глупо не осознавать, что быть живым человеком на этой прекрасной земле озна-

чае является частью общего контекста, сформированного при активном участии оглушенных – просто потому что их гораздо больше.

И будучи частью этого контекста, о чем еще и мечтать, кроме как стать добрым швейцаром на выходе, который поможет надеть пальто, выслушает последние пьяные жалобы, утешит, пообещает, что все будет хорошо, и вызовет такси.

Это наверное удивительно и почти дико звучит в моих устах (даже для меня удивительно и почти дико), но каждым моим поступком, каждым жестом, каждым словом движет любовь, которая больше меня. И эта моя любовь все еще слишком прагматична.

Вообще-то, смешно – если отвлечься и посмотреть со стороны.

Все непросто

Потому что, во-первых, до «просто» всем присутствующим еще несколько витков эволюции. Человек рожден из праха ради цветущей сложности и неизбежно сопутствующих ей заблуждений. Если кто смотрел британский сериал «Миранда», то здесь следует воскликнуть с интонациями ее мамы: «Это так весело!»

Потому что, во-вторых, лето перевалило за половину, и это тот счастливый момент, когда лично я не верю, что бывает зима. Знаю (теоретически), но не верю.

А еще потому что из человеческого мира со свистом уходит смысл. Все время, как воздух из шарика.

Дырки, через которые уходит смысл, можно залепить магией (в самом широком смысле слова). Любим, то есть, деятельным обещанием бессмертия.

Вот например искусством отлично залепляются дырки. Тем, которое подлинное и мертвому зайцу разъяснено раз и навсегда¹.

Я не шучу про зайца. Ну, почти не шучу.

Пустота, которая образуется на месте смысла, проще всего заполняется чувством собственной правоты. Такой уж материал, идеально ложится именно в эту дырку.

Как и смысл, правота требует действий. Но, как бы это сказать, несколько иных.

Если смысл требует нести его и наполнять все, что подлежит заполнению, правота требует идти и истреблять все, ей противоречащее. Вот почему отсутствие смысла неизбежно приводит к агрессии.

Проще говоря, если вам кажется, что для улучшения вашей жизни надо кого-то убить, у вас на месте смысла дырка. И вы отчаянно смертны – вот прямо сейчас.

Вспомнилось вдруг одно из самых регулярных наваждений позднего детства. Это когда окружающий мир вдруг начинает казаться двумерным, а дома (если накрыло на улице) – фанерными декорациями, пальцем толкни, рухнут.

Это было почему-то довольно приятно, совершенно меня завораживало. И казалось чем-то, не знаю даже, как сказать – нехорошим? неприличным? – как будто реальность вдруг стала без рисов. Как будто вот сейчас она и есть «настоящая», какой ее никто не видит.

¹ Здесь отсылка к знаменитому перформансу Йозефа Бойса «Как объяснять картины мертвому зайцу».

(Хорошо еще, что мне тогда не был известен целый пласт соответствующей литературы, а то сколько наивных спекуляций насчет майи породил бы на радостях детский ум, подумать страшно.)

И в связи с этим до меня вдруг дошло: с некоторых пор все, что я делаю всеми доступными мне способами – про многомерность мира. Про то, что видимым слоем реальность не ограничивается, с него только начинается восприятие, и если им же заканчивается, это просто ущербность, физический недостаток; впрочем, устранимый.

Быть частью реальности и не ощущать (хотя бы) ее текучесть, быть захваченным потоком времени и не чувствовать (хотя бы) его движение – ну, слушайте, так дело не пойдет. Я так не играю.

Вернее, я играю не так.

Поэтому все, с чем я прихожу к вам под окна, чтобы докричаться и выманить из дома во двор, в открытый всем ветрам мир живых – про другие слои, про глубину, про абсолютно внятные, но не очевидные взаимосвязи всего со всем. И в первую очередь – человека с собственной глубиной.

Вся история модернизма представляется мне следствием того, что дух вдруг с каких-то хренов (скорее всего, просто для равновесия) решил являть себя уважаемому европейскому человечеству с большей, чем прежде интенсивностью и (вероятно по этой причине) самыми разнообразными способами. Ну, то есть, понятно, что слово «решил» тут неуместно, дух просто стал проявляться через искусство с удесятеренной силой и разнообразными способами, словно бы заговорил с людьми на множестве языков одновременно в расчете, что хоть какой-нибудь, да поймут.

Художники, надо сказать, попали. Потому что когда ты вдруг делаешься мало того что инструментом проведения огромного количества духа, но еще и носителем нового художественного языка, который никто вокруг не понимает и учить, мягко говоря, не то чтобы вот прям все стремятся, в такой ситуации у тебя не так много шансов выжить – в самом простом, бытовом, физическом смысле этого слова. Тут вероятно следует напомнить общеизвестную, но чрезвычайно показательную легенду про Ван Гога, который пытался продать свою работу хозяину лавки художественных товаров по цене чистого холста и получил фигу, потому что холст, по словам хозяина, был «испачкан».

Хотя некоторые художники, в итоге, совсем неплохо устроились. Это называется «счастливая судьба».

Кстати, быть инструментом проведения духа без надлежащей психофизической подготовки – та еще засада. Тело выдерживает с трудом и обычно недолго, хотя и тут, к счастью, бывают исключения.

Апофеозом, не побоюсь этого слова, беспредела является, конечно же бывший немецкий летчик Йозеф Бойс, объявивший искусством все, что лежит под солнцем. Бойс, который формально как бы просто художник, а на деле – шаман, практикующий на глазах у охреневшей от такого дела публики. Просто в Нижнем Мире Бойс не ловил за хвост душу пациента и не договаривался с духами об удачной охоте, а решал вопросы искусства, такая уж у него была специализация.

«Человек нуждается в том, чтобы быть сформированным правильным образом. А это значит, что его следует вылепить. Он должен быть вылеплен абсолютно сверху донизу».

Это Бойс так рассуждал о педагогике. Люблю его за это, как можно любить только за общие заблуждения, потому что мне тоже кажется, что все именно так и есть. Одновременно я понимаю, что подобные упражнения в скульптуре – чужая (уж никак не человеческая) компетенция. Но мое понимание ничего не меняет.

Для меня художественное пространство (мир художественных практик – да как ни назови) очень четко делится на «до Бойса» и «после Бойса». Мне кажется, после Бойса заниматься искусствами (любыми), не будучи при этом хотя бы отчасти шаманом – бессмысленно. Или ты идешь в Нижний Мир, голый, босой, ни хрена не соображающий, приносишь в жертву духам себя целиком, и если не будешь сочтен слишком легким, получишь место юнги на Летучем Голландце, патрулирующем границу между непостижимым и немислимимым. Или ты сидишь дома и вышиваешь макраме на условиях построчной оплаты, точка.

Ну, то есть. Без этого потустороннего ужаса можно, конечно, быть художником. Все можно, красиво жить не запретишь. Просто совершенно бессмысленно – по большому счету. А по малому – нормально, все как у людей. Можно даже к кормушке какой протолкаться. И задержаться там на неопределенный срок, с чадами и домочадцами.

Потому что если Бойса нет, все дозволено.

Тут, если по уму, надо бы сказать еще и о том, что параллельно с описанным крупномасштабным нисхождением духа происходил не менее крупномасштабный выпендрей, развеселые игры ума и прочее дада, и этак непринужденно перейти к Энди Уорхолу, гению, современнику (почти) и абсолютному антагонисту Бойса.

Бойс объявил искусством весь мир, Уорхол – себя.

Все это было написано потому, что мне вот практически на днях удалось осознать и сформулировать принцип, по которому я оцениваю современное искусство – то есть все, происходящее в художественном пространстве сейчас.

В первую очередь важно: что нам предлагает художник? Весь мир, или так или иначе оформленное «я»?

После Бойса и Уорхола это – единственный работающий принцип. Верьте мне. Я на мировом древе вот прям шас вишу. Или висю. Глагол «висеть», первое лицо, единственное число, настоящее время, короче.

Вход в магическое пространство происходит спокойно и естественно, а не с треском, визгом и экстазом, как учат нас разнообразные сокровища мировой культуры.

Для магического пространства прежде всего характерно полное отсутствие не только страха, но и самой возможности испытывать страх. Если страшно, то это какое-то не то пространство. Морок. Надо плюнуть каку как можно быстрее.

Зато выход из магического пространства почему-то сопровождается приступом эйфории.

Возникает закономерный вопрос: что это за место такое – текущая реальность, если сюда возвращаешься под кайфом? Наркотический бред с галлюцинациями? Или просто луна-парк, где надо развлекаться, а кто не развлекается, тот дурак?

Или что?

Вчера на улице Траку здоровенная глыба льда рухнула с крыши на землю в метре от моего носа, не вызвав ни намека на привычные эмоциональные внутренние выкрики – ах! смерть была совсем рядом! ах! мне посчастливилось ее избежать! – и далее двигаться в сторону страха, или эйфории, или в обе сразу, в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Честно говоря, вообще никакой реакции не вызвало у меня падение этой глыбы, кроме понимания, что она уже упала не на меня, а значит, и говорить (думать) не о чем, можно идти дальше. Не выскакивая при этом на проезжую часть, подальше от теоретически опасных крыш. И это не залихватский фатализм, а просто спокойное согласие с миропорядком, для которого я больше не заложник, лежать-бояться, лицом в пол, а – коллега.

Я – тоже миропорядок, и это не мания величия, а начальная стадия понимания того, как все устроено. Не теоретического понимания умом, а практического понимания всем существом, так удачно вплетенным во все сущее, что бояться – нечего. Умом понимать, что существуют опасные ситуации, все еще можно, а влипать в них, трепеща нежным ливером – нет. И это уже более-менее похоже на свободу, как я ее себе представляю; строго говоря, это и есть свобода, только пока не очень стабильная. Но и собственная нестабильность не пугает меня совершенно – тоже мне, подумаешь, проблема.

Вообще, все эти рассуждения – принудительный умственный труд, я пока (учитывая нестабильность системы) заставляю себя помнить, как было раньше, восстанавливать обычную для меня когда-то внутреннюю логику – теоретически, не влипая. Сравнить. Повторять себе: смотри, было так, а стало этак.

И понимать, почему оно стало.

Собственно, только сегодня вечером мне удалось оценить описанное событие как происшествие. Теперь я смотрю на себя и понимаю, что это нечто совсем иное тут сидит. Совсем не то, что было еще недавно. И быть вот этим чем-то совсем другим мне очень нравится.

То есть, мне, кажется, впервые с момента рождения искренне нравится быть человеком на этой земле. Существом, словно бы специально созданным для стремительного прижизненного преобразования, которое начинается только по его воле и не заканчивается вообще никогда, потому что преобразование это – движение в сторону существа, которое не понимает, что такое «заканчиваться». Вообще не ставит вопрос таким образом.

И правильно делает.

Выбирая, чему и кому верить, человек на самом деле выбирает для себя тот вариант реальности, который ему проще принять.

Штука в том, что всякий поверивший (выбравший поверить) злу, тут же становится частью этого зла. И несет персональную ответственность за умножение зла.

Речь не о том, можно ли простить наивную-жертву-обмана. Речь о том, существует ли для каждой из таких жертв возможность спасения.

Теоретически спасение существует для всех. На практике – это очень трудно.

В художественной литературе душа обычно продается за всякие приятные бонусы. Деньги, власть, молодые девы и все в таком роде.

Понимаете, чуваки. Художественная литература обманывает нас. Души покупаются много дешевле. За одно только сомнительное удовольствие сохранить привычную картину мира, сколь бы мрачной и унылой она ни была. Вернее, за неосознанное желание, чтобы твоя

унылая картина мира стала правдой для всех. Чтобы никто от нее не отвертелся. А то ишь развели романтику.

Возможность и дальше считать свою унылую правоту единственной правотой – стандартная цена за душу живую обычную бессмертную, одна штука. Такая душа попадает в ад немедленно и умножает его силу и полезную площадь – прямо здесь, на этой земле. Потому что другого ада все-таки нет.

Но и данный нам в ощущениях – не сахар. И сколько не обрушивай на этот ад всю «убийственную мощь подвластного огня», стоит пока целехонек – очень уж крепко держатся за него миллионы кровно заинтересованных лиц.

Выйти из дома

Если сидеть вечером дома, приоткрыв окно, внешний мир кажется довольно неприятным, если не вовсе страшным местом.

Воет ветер, с улицы доносится злобный собачий лай и неестественно громкие человеческие голоса – пьяный скандал? или даже драка? А потом кааак грохнет что-то. И автомобильные сигнализации кааак заверещат. Конец света натурально.

А если выйти из дома, окажется, что давешний грохот – это был фейерверк. А громкие голоса – компания студентов, пьяных, разве что, от холодного осеннего воздуха и хохота, то и дело пытаются разойтись по домам, даже делают по несколько шагов в разные стороны, но никак не могут прекратить разговор и расстаться навек, аж до завтра, потому, собственно и орут – просто от избытка. А «злобный собачий лай» – это щенок-подросток пристаёт к взрослой собаке, которая снисходительно отражает его атаки одной лапой и терпеливо ждет, пока хозяйка перестанет любезничать с владельцем щенка и можно будет пойти домой. И ветер, который так страшно выл, влетая в мансардное окно, это просто свежий ветер с реки, захочешь не унесет.

И это, если кто не понял, универсальный ключ и рецепт от всех страхов – приблизиться и внимательно посмотреть.

Г

Глупая маленькая белая кошка знает, что такое любовь.

Любовь – это лежать на неудобных скользких коленях неудобного скользкого, постоянно шевелящегося любимого существа, сползать с них каждые несколько минут, но не выпускать отросшие после стрижки когти, не цепляться, а шмякаться на пол, вздохнуть, запрыгивать обратно на скользкие неудобные колени, сворачиваться клубком и снова сползать на пол, но не выпускать когти, не цепляться, падать, вздохнуть и возвращаться – и так до бесконечности.

Глупый большой скользкий человек тоже знает, что такое любовь. Любовь – это сидеть в неудобной позе, задрать колени, едва касаясь пола кончиками пальцев ног, стараться поменьше шевелиться, чтобы глупая маленькая белая кошка падала и вздыхала как можно реже, и в этом удивительном мире, сотканном из глупости и любви, было чуть больше тишины и покоя.

Говорить (и думать) как бы о важном, как бы правильными словами из книжек уже выучились многие.

Я помню, в начале девяностых, когда все вдруг принялись массово читать свежеезданного Кастанеду, какую только херню не называли «точкой сборки». И какие только гадюшники, знаковые для какой-нибудь тусовки не именовали «местами силы».

А уж сейчас, когда специализированные журналы сообщают заинтересованной публике, например, о соревнованиях по йоге (чистая правда, своими глазами), не молоть чушь на соответствующую тему становится почти неприлично. И мне как живому существу страшно, а как исследователю дико интересно было бы не на словах обсудить, а перечувствовать все те удивительные состояния, которые разные другие мыслящие монады называют красивым книжным словом «медитация». Мы же все о принципиально разных состояниях говорим при этом, спорю на сто рублей.

Друг мой недавно сказал, что как только появляется представление о «правильном» (поведении, состоянии, образе мыслей и пр.), оно автоматически подразумевает существование «неправильного», наличие которого нас и убивает.

И меня это в очередной раз окрылило, потому что в очередной раз стало можно вообще все в этом мире, сотканном из пузырьков и лучей света. Какие могут быть правила для текущего света, кроме одного – быть светом. А не быть им никак нельзя, мы все с рождения – свет, кто спящий, кто бодрствующий, но в любом состоянии сияющий и текущий, иначе это был бы не свет, а что-нибудь другое.

Однако как деятельный исследователь происходящего, вундеркинд из спецшколы для трехголовых зайчиков и царь мира сего, я дипломатически протестую против полной невозможности совершить роковую ошибку и умными словами из книжек ее обсудить!

Город-сон

Шутливое предположение, будто князь Гедиминас, увидев во сне волка, так и не проснулся, а перевернулся на другой бок и стал видеть во сне город, могло бы забыться на следующий же день, если бы речь шла о любом другом городе. Но поскольку речь о Вильнюсе, эта версия прижилась и уже почти полностью заместила в моем сознании историческую правду. Иначе и быть не могло.

Здесь (я это регулярно говорю, потому что не просто правда, а одна из немногих базовых, фундаментальных правд) несколько потоков реальности, они почти не смешиваются, и можно (теоретически) войти в любой из них и оставаться там сколько душа пожелает, или (так точнее), сколько хватит внимания, намерения и сил.

Причем, если не входить ни в один из потоков намеренно (кто бы объяснил, как это можно сделать намеренно, и о каких «потоках» вообще речь, – думают сейчас многие читатели, и они по-своему правы), велика вероятность, что рано или поздно вы все равно макнетесь во все. Тем и удивителен Вильнюс, что здесь некоторые непростые процессы порой включаются сами, без усилий воспринимающего, и некоторые удивительные штуки тоже показываются сами, не требуя от нас никаких особых метафизических заслуг. Только сиди и смотри.

Один из потоков, в который, мне кажется, почти невозможно не войти, находясь тут, это город-сон. Я имею в виду, здесь происходит множество событий, которым место скорее в

сновидениях, чем наяву. События эти сами по себе незначительны, но именно они создают ту совершенно особую городскую атмосферу, аналогов которой лично мне видеть не доводилось.

Вот сейчас я сижу на уличной веранде очередного «Кофеина» при торговом центре. Теоретически, нет места скучней и обыденней.

И вот просто в качестве эксперимента отрываюсь от компьютера и смотрю по сторонам. Чего происходит?

И вижу:

– Старик сидит в инвалидной коляске. В каждой руке у него по воздушному шару – синий и белый.

– Ребенок едет в детском автомобильчике с музыкой, которая, как я понимаю, играет от движения. Окрестности оглашаются пронзительным рождественским «Jingle Bells».

– Мать ребенка бежит следом вприпрыжку, размахивает брендовыми пакетами с покупками и подпевает вслух.

– Человек, завернутый в желтый клеенчатый дождевик, за неимением дождя, прыгает вокруг фонтана. Чтобы брызгало! Зря он, что ли, дурацкую клеенку надел.

– Вокруг того же фонтана бродит девочка с кукольной коляской. В коляску кое-как упи-хан слишком большой для нее плюшевый динозавр.

По-моему, эксперимент удался.

И вот примерно так случается всякий раз, когда я вынырываю из внутренних потемок и начинаю смотреть и слушать. Ни минуты без странных, нелепых происшествий, бессмысленных с точки зрения здравого смысла, но идеально укладывающихся в логику сновидения.

Вы можете сказать, что дело в смотрящем и слушающем, т.е., во мне. Теоретически, это правда. Но многие люди, побывавшие в Вильнюсе и гулявшие здесь без меня, подтвердят – такой фон городской жизни тут норма. Как, по словам очевидцев, написано на стене одного израильского кафе, **ЗДЕСЬ – ТАК**.

Д

Даже удивительно, насколько все сводится к совсем простым базовым вещам, которые начали казаться докучливыми банальностями еще в детстве.

Есть два вопроса:

1. Ты можешь обидеть того, кто слабее? (Важное уточнение: нанести ущерб именно в той сфере, где другой слабее. То есть, не только тупо ударить хлипкого, но и подразнить эмоционально уязвимого, обобрать бесхитростного, напомнить о более низком социальном статусе и т.п.)

2. Тебе это нравится?

Честный ответ на первый вопрос будет утвердительным у каждого, даже с ангелами порой такое случается, потому что иногда просто трудно рассчитать, кто слабее в конкретной ситуации, а иногда, чего уж там, бывает состояние аффекта, и тогда спасайся кто может.

Важная правда о нас, конечно, в ответе на второй вопрос.

Очень страшный, социально одобряемый (даже более одобряемый, чем водка) наркотик это наслаждение иллюзией собственного превосходства. Один из самых простых способов дешево и невыгодно продать душу. И такой прельстительный.

В бездне, которая уготована его жертвам, нет ничего интересного. И вообще ничего. Вот в чем штука.

Два Вильнюса

На самом деле, конечно, гораздо больше чем два. И даже чем уайлдеровские «девять городов». Вильнюс в этом смысле как торт «Наполеон» Мебиуса, если вы хоть примерно представляете, что я имею в виду.

Но простоты ради можно говорить только о крайностях.

В одной из крайностей живу, например, я. И мне регулярно приходится слышать, что к так называемому «реальному» Вильнюсу мое представление об этом городе не имеет никакого отношения. Потому что у нас же тут «БУУУ!» – а не «тру-ля-ля». И даже так: «БУУУУУУ-УУУУУ!» Чтобы проняло.

Это обычное дело – самую скучную, паскудную, подлую интерпретацию происходящего называть «реальностью», а все остальное объявить романтической фантазией, или просто глупостью. Изредка делают наоборот, то есть, «реальностью» объявляют только то, что нам нравится. Так, конечно, гораздо приятней, но тоже довольно глупо.

Правда же состоит в том, что все – реальность. Точнее, реальность – это все вместе. Сумма бесконечного (или почти) числа слагаемых. Сами же слагаемые вполне равнозначны, каждое из них не вся правда, но ее обязательная часть, вот в чем штука.

Да, так вот. Что касается Вильнюса. Вернее, Вильнюсов. Если брать два крайних варианта, это будут мой город-сон и такая унылая херня, что даже описывать словами ее не хочется, вдруг одно из них к небу прилипнет, и как я тогда стану жить.

При этом у настоящего Вильнюса (который есть сумма всех представлений о нем) очень хороший характер. Он легко и охотно соглашается со всеми мнениями о себе. И соглашается не словом, а делом: чего от него ожидаешь, то и получишь, чего напредставляешь, в том и будешь жить.

Казалось бы, чего проще – замри на пороге в ожидании десерта и наслаждайся потом всю жизнь.

Поэтому, кстати, так хорошо тут счастливым туристам. Среднестатистический турист, приезжая в незнакомый город, ждет все же скорее праздника, чем фуфла. Хотя бывают такие специальные фуфлоискатели, прям с первой минуты так и рыщут в поисках недостатков и проблем, но это все же скорее патология, чем норма.

В общем, среднестатистический турист получает тут свой праздник по полной программе. Турист же несреднестатистический получает здесь такое, что словами не расскажешь. Ну, то есть, расскажешь – кое-что. Одну тысячную примерно часть.

О местных жителях говорить пока не буду вообще, местные жители – это отдельная большая тема, о каком бы городе ни шла речь.

А с приехавшими надолго жить и работать выходит интересно и очень непросто, потому что легко сказать – имей хорошие ожидания. Когда они, негодники, по большей части, вообще бессознательные – ожидания-то. Настороженная готовность к плохому настолько норма для

современного человека (особенно когда он не в отпуске), что ее даже не замечают, не выделяют как некоторое особенное состояние. Норма – она норма и есть.

А в таком пластичном городе как Вильнюс настроженная готовность к плохому – это конец всему. В смысле, полный бейт.

Так вот, приехать и поселиться в моем Вильнюсе, прозрачном городе-сне, очень трудно. Но некоторым все-таки удастся. Время от времени я слышу истории о разных странных людях – английском профессоре, канадском лесорубе, немецком враче – которые приехали в Вильнюс, влюбились с первого взгляда и живут теперь тут долго и счастливо, палкой не выгонишь.

(Интересно, вот хоть кому-то хоть чуть-чуть понятно, что я стараюсь выразить словами? Потому что, мне кажется, ужасно невнятно получается. То есть, не читатель потенциально тупой, а тема такая неподъемная. О таком вообще человеческими словами обычно не говорят, ох.)

Мне повезло приехать в Вильнюс в состоянии ожидания чуда. То есть, не просто ожидания, а жажды и даже настойчивого требования чудесного, как необходимого условия выживания, Москва меня к тому времени как раз уже приканчивала.

И в том же состоянии мне повезло вернуться сюда во второй раз. И в третий. А потом...

Потом было всякое, включая нормальные человеческие неприятности. Одни только хождения в департамент миграции чего стоили. Но к тому времени мне удалось просечь фишку и всякий раз сознательным волевым усилием возвращать себя в состояние почти младенческой невинности, широко распахивать рот и застывать в ожидании метафизической конфетки. И конфетки падали в рот одна за другой – это же Вильнюс. Чего ждешь, то и получишь. Практически незамедлительно. Отличный город для тренировки, если вы заинтересованы воспитать в себе полное и безоговорочное доверие к миру, который – удивительное, непостижимое, невероятное место, точка, и слушать больше ничего не желаю. Осознанно и намеренно не желаю. Знали бы вы, как это трудно мне, человеку с самым критическим в мире умом. Ну или почти самым.

Но я продолжаю тренироваться стоять на всех ветрах с наивно распахнутым ртом в ожидании немислимых чудес.

И это работает.

Две вещи

1. Нужно всегда доверять шефу². Кричать, когда больно, дрожать, когда страшно, грустить, когда фигня творится – это нормально, никто не запретит. Но при этом – безгранично доверять шефу, чьи замыслы и планы нам обычно неведомы и непонятны, просто потому, что не помещаются в нас. Но это ерунда, что не помещаются, главное – доверять ему по большому счету. И даже плача от боли, дрожа от страха, грустя от фигни, не следует маяться глобальным недоверием. Двойным стандартам тут не место.

2. Двойным стандартам не место еще вот в каком вопросе. Всякому, кто верит (или, тем более, знает о бессмертии) следует не забывать о необходимости (в каком-то смысле даже обязанности – перед собой) рассматривать все происходящее с точки зрения бессмертного существа, у которого впереди вечность. Хоть и не очень понятно пока, в каком виде. Но все

² Непостижимому и неопределенному, конечно же.

равно рассматривать все с точки зрения непостижимого существа, каким станешь миллион лет спустя (и при этом – такой парадокс – никогда не перестаешь быть).

Потрясающая переоценка ценностей случается при такой перспективе.

Ну и, в конце концов, это просто красиво.

Дверь в стене

В центре всюду расклеены самодельные, распечатанные на принтере объявления – пропал человек тридцати двух лет, вышел в пять утра из такого-то клуба, в последний раз его видели в пять десять на такой-то улице.

Такая-то улица – наша. И, кстати, я могу прикинуть расстояние до указанного клуба – как раз десять минут очень быстрым шагом. То есть, на ногах пропавший держался твердо, если что.

Объявление снабжено двумя фотографиями ужасного качества. Ну как ужасного. Любительские цифровые фото, распечатанные на домашнем принтере, по уши влюбленном в свои красные чернила, бывает и хуже. С фотографий смотрит печальное лицо оборотня, давно забывшего, из кого и на кой черт он превратился в человека. Но смутно понимающего, что было еще что-то – когда-то, давно.

Обычно история о пропавшем человеке – скверная история. Но я говорю себе, что на этот раз она хорошая. Потому что я так хочу. И еще потому что в последний раз пропавшего человека видели на нашей улице.

Штука в том, что на нашей улице есть наш дом, а в доме – наш подъезд. А в нашем подъезде – невидимая дверь на втором этаже. То есть, никакой двери в том месте, конечно, нет, но некоторые люди иногда ее видят. Например сосед-аутист, который топчется перед невидимой дверью часами. Уж он-то точно видит ее всегда. Но его туда не пускают.

Мне удалось увидеть эту дверь всего два раза. В первый раз туда вошли две девушки-художницы. Ну, по крайней мере, одна несла холсты на подрамниках, а другая – очень большую картонную папку для графики, уж не знаю, пустую, или полную.

Мы тогда только-только сюда переехали, и мне еще не было известно, что никакой двери на втором этаже нет. Была сделана отметка в памяти – ага, да у нас тут соседки-художницы, на втором, под тринадцатой (на нашей лестничной клетке на соответствующем месте как раз есть совершенно настоящая дверь квартиры номер тринадцать).

И только на следующий день, когда нам в почтовый ящик бросили чужое письмо, при попытке выяснить, какой номер квартиры у художниц, обнаружилось, что двери в том месте нет. И мне стало понятно, что с нашим подъездом все довольно непросто.

И совершенно непонятно все остальное.

Еще какое-то время спустя выяснилось, что перед дверью на втором этаже (то есть перед белой стеной) часто топчется странный сосед. Постепенно до меня дошло, что он-то, в отличие от нас, дверь видит. Однажды мне пришло в голову, что надо попробовать посмотреть на стену его глазами, а не своими, и тогда дверь снова была явлена мне.

Нет, не зеленая. Темно-коричневая. Обычная такая старая входная дверь.

С тех пор сосед-аутист от меня прячется, вернее, просто резко отворачивается от стены, заслышав мои шаги, и у меня нет его глаз, чтобы увидеть дверь.

Впрочем, мне не то чтобы вот прям печет.

Наш подъезд запирается на замок, но замок довольно часто не защелкивается, особенно зимой. Тогда в подъезд может войти кто угодно.

И вот я смотрю на лицо затосковавшего оборотня с самодельных объявлений о пропавшем человеке. Я прекрасно знаю, что в большинстве случаев такие объявления рассказывают о смерти. Иногда – просто о продолжении загула. Если очень повезет.

Я вообще много чего знаю. Моим здравым смыслом стены можно крушить.

Но кроме всего вышеперечисленного я знаю священный принцип: «как скажешь, так и будет». Поэтому по вечерам я вхожу в свой внутренний храм, такой же невидимый, как эта темно-коричневая дверь на втором этаже, ставлю свечу перед иконой святого Лионеля Уоллеса, покровителя странников, и говорю ему: «Позаботься».

И будет по слову моему.

Даже если не будет.

Девочки

– ...стал нудить, что я как-то неправильно квашу капусту, и она пропадет, и никакой пользы. А я ему говорю: «Это тебе всегда нужна польза, а мне нужны только радость и любовь».

... вот считается, будто смысл нашей жизни в детях. И я вдруг поняла, это такая глупость! Дети у меня хорошие, но при чем тут смысл? Вот сын недавно приезжал в гости. Я на него смотрю – красивый взрослый мужик. Совсем отдельный человек. Как он может быть смыслом моей жизни? Мой смысл всегда тут (стучит кулачком под ключицей), и когда его вдруг там нет, никакие дети не помогут, даже если все трое сразу приедут и внуков привезут. А когда есть, тогда уж есть, и пусть все будет как будет. Ничего не боюсь.

Сын спрашивает: «Ты чего смеешься?» А я не знаю, что ответить. Не говорить же ребенку, что в нем нет никакого смысла? Вот я и не сказала.

...позвонил человек, который пятьдесят лет назад был... ну, другом. Можно и так сказать. И вдруг он нашел меня, позвонил. И оказалось, что он все-все помнит. И о чем мы разговаривали, и где стояли, и в каком я платье была, и что ответила. Я такая глупая тогда была и глупости отвечала, а он эти глупости помнит. Серьезный человек, врач, столько лет все это помнит, так странно. Но важно совсем не это! Важно, что он мне потом смс написал. В стихах. И я подумала, надо тем же ответить. Просто из вежливости. И стала сочинять стихи. Никогда такого не было, даже в юности, когда все про любовь сочиняют. А тут вдруг начала. И мне так понравилось. Уже несколько месяцев прошло, а я хожу, стихи придумываю. Не записываю, ты что. Нет, ну иногда что-то записываю... Но не покажу! Вот умру, тогда читайте. А сейчас не дам. Не хочу. Но это такое счастье оказалось – писать стихи! Все время об этом думаю. В голове раньше разная ерунда крутилась: то сделать, поехать, спросить, позвонить, узнать – ну, как у всех. А теперь там только стихи. Ничего больше не помещается... Что? А, тот человек потом еще звонил. И писал. Но это совсем неважно. Не в нем же дело.

... с детства мечтала о мотоцикле. Ничего на свете так не хотела, как мотоцикл. Думала: вот куплю мотоцикл, сяду и уеду. Не хочу в институт, не хочу замуж, хочу ехать на мотоцикле вокруг света и никогда не приезжать. Всю школу деньги копила, половину скопила, пошла на права учиться, отец узнал, и такой был скандал! Не дали мне права получить. И в институт, конечно, поступила. И замуж потом, почти сразу. До сих пор жалею. Ни о чем больше не жалею,

только о мотоцикле. Может, хоть сейчас купить? Скажут: «бабка дура», – а пусть. Я сяду и поеду. И не приеду никогда.

...стакан с томатным соком опрокинула, и он, красный, густой, течет по столу, капает на пол, на ковер, а я не вытираю, смотрю, оторваться не могу. И вдруг понимаю, что совсем не боюсь смерти. Как будто бы знаю, что там. И как будто бы даже это умею.

* * *

Держат их, держат по полвека в черном теле как бесплатную домашнюю обслугу, на каждом углу бубнят об их неполноценности, с сорока лет начинают публично хоронить, как старых-страшных-никомуниженных, а ничем не перешибить.

Девочки-девочки, вечные храбрые связистки Духа, ненадежные с виду, но прочные веревочные лесенки между землей и небом. Никогда вас не пойму. Как вы это делаете?

Ну вот как? А?

Дедушка, папин отец, по долетевшим до меня обрывочным сведениям, был начальником какого-то из участков железной дороги Варшава – Тифлис. Бабушка родом из какой-то мелкодворянской семьи, обедневшей чуть ли не раньше, чем зародившейся; семья жила где-то возле города Сумы. Никто из них никогда в жизни не был в Одессе.

После революции дедушка и бабушка, взяв троих детей-погодков (папа 1918 года рождения, второй по счету), стали пробираться на дедушкину родину, в Варшаву. По дороге они попали в Одессу и там умерли от тифа. Все.

Выжил только папа; в детдоме каким-то образом сумели разыскать его родственников по матери, и когда детдом разогнали (случалось в те годы и такое), папа сумел добраться до родни, то есть, в Сумскую область. Дальше рос там.

В 1944 году во время освобождения Одессы папа получает там второе за всю войну (и, в отличие от первого, серьезное) ранение, попадает в госпиталь. Соседа по палате, одессита, ходят навещать жена и дочери, завязывается роман с сентиментальной перепиской, после демобилизации папа возвращается в Одессу, женится, остается там жить. И умирает в Одессе пятьдесят с лишним лет спустя.

С точки зрения беспристрастного наблюдателя это выглядит следующим образом: «Выбирай, или ты здесь умрешь, или ты все равно умрешь здесь». Завораживающе красиво. Лучший романист, безусловно, заведует Небесной Канцелярией. Имя Его непроизносимо, творческое наследие неисчерпаемо и по большей части неизъяснимо. Но поддающиеся расшифровке фрагменты прекрасны до немоты.

Декабрьская тьма в больших городах – вовсе не ежегодное зло, а просто ежегодная перестановка визуальных акцентов. То есть, темнота – это благоприятный фон для осколков концентрированного света, а значит, почти благодать.

Это конечно не новость, что нет «хороших» и «плохих» вещей, а только глаза смотрящего, и еще деятельный ум смотрящего, приученный к расклеиванию этикеток из скудного, в несколько наименований всего, набора. Однако перемешать этикетки так, чтобы оценивающая сволочь запуталась, сбилась с толку и растерянно умолкла – всякий раз подвиг, совершаемый,

понятно, в одиночку, помощников тут не бывает, и даже карикатурный гуру с бамбуковой палкой мимо не пробежит, в наших широтах они не водятся, холодно им тут.

Джокер

Карту-джокер в текущем культурном контексте традиционно романтизируют, так что даже человек, ни разу не игравший в карты, твердо знает, что джокер крут. Чем угодно может быть, тогда как у прочих карт все на лбу написано, раз и навсегда.

Крут-то он крут, не вопрос. Но не следует забывать, что «чем угодно» – вовсе не обязательно означает «тузом». При определенном раскладе (например, в «Рамми») джокера могут выложить за двойку, тройку, или еще какую-нибудь мелочь.

Поэтому тому, кто зачем-то родился джокером, должно быть неведомо чувство иерархии. И чувство собственной значительности заодно. Более того, у джокера не должно быть собственных представлений о том, что он такое. В противном случае, джокер просто не сможет хорошо делать то, ради чего он есть.

А делать все равно придется.

Строго говоря, свобода существа, заключенного в человеческую форму, начинается с безразличия к собственной роли и собственному положению. Все остальное – потом.

Долгие годы более-менее всеобщего атеизма (как искусственно насаждаемого, так и естественного следствия развития науки и ужасов мировых войн) пошли человечеству на пользу. Ну, то есть, качественным его представителям; остальные, впрочем, вообще не в счет, они нам, можно сказать, мерещатся.

То есть, формальная традиционная вера в формального же традиционного бога если не целиком разрушена, то основательно подорвана; при этом потребность в трансцендентных переживаниях никуда не делась. И утрата мифа ощущается как утрата важнейшего из жизненных ресурсов. И так далее.

И в такой драматической ситуации человек (некоторый человек) начинает оглядываться по сторонам в поисках Бога. Согласен на невыразимого, лишь бы живого.

А тот, кто оглядывается по сторонам с таким намерением, получает весь мир и новые коньки в придачу. И еще кучу бонусов (ликование земли, мерцающие нити паутины мира, лестница в небо и Божественный лик под каждым кустом включены в пакет).

А это уже не просто «молиться». Это уже практически «дружить».

Ничего себе, а.

Друг рассказывал, как ездил в Индию, вернее возил туда группу товарищей, которым позарез надо было в какой-то удивительный монастырь с целью чудесного спасения себя от всего сразу. А друг как раз знал, как туда добраться, поэтому был проводником.

И вот едут они в поезде, с юга на север Индии. А что такое индийские поезда, все наверное знают, если не по собственному опыту, то из рассказов знакомых и незнакомых. В индийских поездах нет ни намека не только на комфорт, но и просто на условия, мало-мальски подходящие для глупого белого человека.

А наши белые люди, напоминая, едут в монастырь, чтобы спастись. Богатырским здоровьем, стало быть, не обременены. Пока здоровье на месте, индийский монастырь обычно на хрен не нужен.

Поэтому в поезде белые люди стали поспешно готовиться к встрече с кондратием, который явно ехал в соседнем вагоне и уже подумывал о том, чтобы их всех посетить.

Иными словами, у всех наших белых людей тепловой удар, высокая температура, жидкость из организма не выводится, лица и конечности пухнут на глазах. А проводник ничем, кроме доброго совета помочь не может; проблема в том, что его добрые советы хороши для людей более-менее здоровых и выносливых. А не для тех, которые уже и так спастись поехали.

Короче. Все они едут в индийском поезде и еще не то чтобы помирают, но уже всерьез рассматривают такую перспективу как вполне возможную.

Поезд, тем временем, фигачит через горы, медленно-медленно, так что местный народ входит и выходит не только на станциях, а везде, где захочет.

И в какой-то момент в поезде появляется теплая компания индийских оборванцев – не то монахов, не то просто бродяг, хрен их разберет. Но скорее монахов, потому что очень уж радостные и благостные, смотреть приятно.

Компания неспешно идет по вагонам, где-то останавливается поболтать, где-то получает приглашение перекусить, где-то делает привал, чтобы гимны попеть. И наконец добирается до вагона, где страдают наши путешественники. Присаживаются рядом в проходе и заводят свои гимны. И поют, и поют, а глупые белые люди слушают, распахнув рты, потому что красиво очень, к тому же экзотика, будет о чем дома рассказать, при условии, что они все-таки туда вернуться.

Когда индийские оборванцы все спели и ушли, выяснилось, что:

– оказывается они пели несколько часов.

– у всех глупых белых людей уже нормальная температура и никаких отеков.

– больше таких проблем у наших паломников не было, хотя ехали еще долго.

До монастыря все они благополучно добрались, а что было с ними там, я не знаю, но предполагаю, чего-нибудь да было.

Эта история – самая простая и наглядная иллюстрация, объясняющая, что такое на самом деле молитва.

И что такое живая вера.

Живая вера – это когда человек ходит по миру, смотрит по сторонам – все ли в порядке. И если видит, что не в порядке, говорит своему Богу (на понятном Тому языке): «Ну Ты чего ушами хлопаешь, а? Разберись!»

И Бог прекращает хлопать ушами и разбирается. Что ж не разобраться, раз такое дело.

А о том, к каким обрядам и ритуалам приучены попавшие в беду, никто даже не вспоминает. Вообще вопрос так не стоит. Родился на этой земле – значит наш, точка.

Стало быть, будем спасать.

Дружба – это просто частичное разделение опыта.

Ну, то есть, именно это я и называю дружбой, а что называете этим словом вы, не имеет значения для меня, хоть и любопытно было бы узнать формулировки (из любви к искусству формулировки как таковому).

Дружба, собственно, возникает, когда выясняется (обычно такие вещи всплывают довольно быстро), что какая-то часть опыта уже разделена. С нуля в таком деле не стартуют (хотя наличие не-нуля мало кто осознает, конечно же).

От интенсивности разделенного опыта зависит прочность связи. Именно от интенсивности, а не от «важности»/«неважности», потому что «важность» – это вообще придуманная категория, «важности» не бывает, зато бывают интенсивность и фундаментальность, причем последняя – в самом буквальном значении. Фундамент – это то, на чем стоит постройка.

Есть люди, с которыми мы не виделись уже много лет. Да и когда виделись, это случалось не то чтобы часто. Есть люди, с которыми мы виделись только однажды, или раза два-три, например. Но интенсивность разделенного опыта была столь велика, что я (внутри себя) не могу классифицировать произошедшее иначе как дружбу. И совершенно неважно, как они будут вести себя в дальнейшем, и будет ли вообще какое-нибудь «дальнейшее», это ничего не изменит. Разделенный опыт не перечеркивается.

Е

Если бы мне вдруг взбрело в голову дать определение магии, чего в здравом уме никто, конечно же, делать не станет, мне пришлось бы сказать, что магия – это осознанные и успешные попытки взаимодействия человека с миром на понятном обоим языке.

Неосознанные, но успешные, равно как осознанные, но безуспешные попытки магией не считаются.

Осознанные успешные попытки взаимодействия с реальностью без обретения общего языка с ней тоже не считаются магией. А считаются просто чудом.

Вот что пришлось бы сказать, если бы мне вдруг взбрело в голову давать определение магии.

Но я же в своем уме пока!

Если долго жить так, как будто Бога нет, Его и не будет – лично для вас.

Если долго жить так, будто Бог – злобный орангутанг с дубиной, Он таким и будет – лично для вас, опять же.

Подчеркиваю: не «верить», не «утверждать», не «думать», а жить так, как будто. Персональная концепция Бога создается только делами, поступками и прочей линией жизни. Теоретические суждения не учитываются вообще.

Пресловутая свобода воли, о которой так любят порассуждать на досуге все подряд, дана нам именно в таком виде.

Житейский прагматизм больше не рулит. Вот именно с этого момента он ведет в бездну – вообще без вариантов.

Если сесть на берегу реки и сидеть там достаточно долго, то рано или поздно мимо тебя перестанут наконец проплывать какие-то дурацкие трупы.

Если что-то и следует сделать вот прямо сейчас (а лучше бы позавчера) каждому из нас, так это прекратить сеять вокруг себя страх. Ну, хотя бы уменьшить интенсивность посевов – для начала.

Поясняю на простом примере. Однажды один мой знакомый, случайно узнав, что вечером этого дня я куда-то там лечу, тут же сообщил: «А кстати, вот как раз вчера разбился самолет компании Air France, и все пассажиры погибли!»

Прошло много лет, а я до сих пор думаю, зачем он это сказал? Он не был ни родственником, ни близким другом, который испугался за мою жизнь и не смог скрыть тревогу. Он не выдвинул ни одного конструктивного предложения, даже не поинтересовался, возможно ли отменить поездку и связанный с ней риск. Не предложил отвезти меня в пункт назначения на своем автомобиле. Даже не пообещал побежать в какую-нибудь церковь и помолиться о благополучном исходе. Просто выдал пугающую, нервирующую информацию, и все. Честно говоря, подозреваю, он просто так брякнул. К слову пришлось.

Сейчас, когда этот эпизод описан мною – пристрастно, внятно, с подробными разъяснениями, мало кому этот мой знакомый не покажется распоследним гадом.

Это, конечно, не так.

Он в тот день испортил мне настроение (и отчасти всю последующую поездку). Заставил тревожиться понапрасну. Но сомневаюсь, что это действительно было его целью. Мой знакомый вполне добродушен, и падеж соседских коров вовсе не является единственной отрадой его жизни. Он просто болтал, ощущая себя источником ценной информации – чувство, временно приподнимающее самооценку почти всякого современного условно цивилизованного человека.

И все.

Но штука даже не в этом. А в том, что так ведут себя почти все люди. А может быть не «почти», а вообще все, просто некоторые редко и не в моем присутствии. Бездумно распространяют бесполезную пугающую информацию, ощущая себя всеобщими благодетелями.

Интернет, конечно, способствует стремительному распространению заразы. Что ни расскажи в публичном пространстве, непременно найдется добрая душа, которая сообщит о страшных-ужасных последствиях описанного поступка. Выпил стакан кока-колы – вам посулят мгновенное ожирение, сахарный диабет и скорую смерть. Воды из-под крана – просто скорая смерть, возможно без ожирения (какое облегчение). Вышел из дома в майке без рукавов – солнечное излучение, онкология, гибель богов. Отправил ребенка в булочную без охраны? Педофилия, наркотики, тайное пожирание сладостей с последующим ожирением и бурным ростом кутикулы – самое меньшее, что ему грозит. Поехал путешествовать – обворуют, нахамят, посядут в сортире с неграми, отравят в кафе, попутно изнасиловав, обвинят в проституции, заразят проказой, смерть неизбежна. Ездите в автомобиле, на велосипеде, мотоцикле, самокате, роликах? Оооооооо, попались! Вам любезно сообщат статистику аварий, посоветуют надеть шлем, а лучше скафандр, добавят, что это не поможет, все равно смерть неизбежна, ожирение неизбежно, онкология наш рулевой, лисы и ежи разносят бешенство (даже через фотографии), колонии бактерий поработили ваше сознание, смерть неизбежна, неизбежна, неизбежна – лично для вас, прямо сейчас, или в ближайшее время, точка.

Я почти не преувеличиваю.

Так вот, что я хочу сказать. Страшней микробов и кока-колы, страшней отпуска в Барселоне и бешенства, страшней наркотиков, колбасы и полетов в самолетах без шлема – страх. Он изматывает, отупляет, лишает радости и работоспособности, ведет к деградации, убивает

раньше времени. Страх – это чума постинформационной эпохи. И каждый распространитель запугивающей информации – крыса, разносчик чумы. Как вам такая роль?

Завязывайте, короче. Оставьте ближних и дальних самостоятельно разбираться с опасностями. Предоставьте окружающих их судьбе. И себя желательно тоже. Я понимаю, что трудно, но тут ничего не поделаешь, надо стараться.

Ж

Жесткое неприятие традиции равнозначно слепому следованию ей.

Ясно, что традиции, существующие сейчас в окружающей нас культуре, по большей части совершенно бессмысленны, а то и откровенно вредны; впрочем, встречаются приятные исключения и их больше, чем кажется – взять хотя бы ту же подготовку к рождественским-новогодним праздникам, которая превращает самый темный и безнадежный месяц зимы в непрерывный праздник, расцвеченный огнями (что интересно, сама праздничная ночь при этом особой смысловой нагрузки не несет и может быть проведена вообще как угодно).

Что с этим можно сделать в домашних условиях? На самом деле, сделать можно довольно много.

Всякая традиция должна быть выделена, очищена от личного отношения, основанного на личном же опыте (ну, типа «в Новый год мама и папа всегда ссорились, с тех пор я его ненавижу», или «однажды в день рождения собралась лучшая компания в моей жизни, и с тех пор я каждый год праздную и жду того же самого», или «моя бабушка-православная была очень злая, поэтому любая религия говно», – и так далее; надеюсь, примитивность примеров просто сделает смысл очевидным, а не поможет читателю заключить: «Ну, я-то не такой идиот», – и расслабиться навек).

Да, так вот. Традиция должна быть очищена от личного отношения и внимательно осмотрена со всех сторон. После чего следует спокойно решить, насколько эта традиция удобна и полезна лично мне, вот прямо сейчас (а не десять лет назад и не в будущем). Приняв решение, можно следовать традиции, а можно ее игнорировать – желательно, принимая меры, чтобы игнорирование не стало разрушительным для нашей жизни, хотя это далеко не всегда просто.

Что важно знать (и не забывать) об игнорировании.

1. Оно не равно неприятию. Неприятие тождественно следованию традиции, это настолько просто, что было сказано уже в первом предложении.

2. Оно должно быть искренним. Человек, декларирующий отказ от следования той или иной традиции (празднования праздников, заключения браков и т.п.), но втайне страдающий от того, что его не пригласили на соответствующее торжество, традицию не игнорирует, а насильственно выключен из нее. Не стоит усугублять эту (временную) неприятность самообманом.

Самообман – это вообще состояние сознания, в котором невозможно ничего. Кроме продолжения самообмана.

А это утомительно и не очень увлекательно.

3

Задача человеческой жизни на земле состоит в том, чтобы отменять ад. Всеми доступными средствами.

Тут такая хитрая штука получается, что его (ад) вообще-то уже отменили. Но это действие такой сложности и силы, что оставляет эхо. Которое повторяет, повторяет и повторяет. Ада нет, а эхо – есть. И вопрос только в том, что при этом делаем мы.

Каждый живой человек или отменяет ад в меру своих скромных сил, или участвует в какой-то совсем другой игре. Которая, при всей ее (возможной) привлекательности – не о бессмертии. А о небытии. Не надо поэтому в нее играть.

Потому что мы тут, с виду такие глупые пакеты биомассы, сикось-накось перемотанные цветными веревочками, с детства обученные заблуждаться и, кажется, больше почти ничему – чистый свет, радость, движение и сила. Ну или нас вообще нет. Одно из двух, чуваки.

Одно из двух.

Здесь и сейчас, а значит всегда я слушаю реальность, как музыку, и знали бы вы, как, оказывается, мало фальшивых нот в этой симфонии, гораздо меньше, чем кажется, когда она доносится издалека; подозреваю, что когда находишься в самом эпицентре, фальшивых нот вообще нет, ни одной.

Зимняя проповедь

Можно ходить, задрав голову, глазеть на заснеженные, как с рождественской открытки, деревья, изумляться, что еще совсем тепло, украдкой высунув язык, ловить сладкие снежинки, разгрести сугроб на клумбе и увидеть, как таращатся оттуда на белый (как снег) свет любопытные анютины глазки.

А можно, матерясь, чистить машину, клясть на чем свет стоит жидкое хрючево под ногами, сутулиться под дополнительным килограммом одежды. Или даже двумя. Будь они прокляты.

В супермаркете сегодня бушевал хромой алкаш в солдатском бушлате, из-под опухшей буро-малиновой рожи проступали тонкие острые черты потомственного интеллектуала, потенциального известного публициста, а то и вовсе популярного блоггера, без пяти минут совести нации, все равно какой. Ну, в данном конкретном случае, кириллической, поскольку буянило существо на языке Пушкина, Демьяна Бедного и прочих родных осин.

Алкаш не просто так буянил, а деятельно критиковал окружающую действительность. «Старая корова, а вся в красном», – орал он, увидев пожилую женщину в красном пуховике. «Мужик, а траву жует! Ты же мужик!» – негодовал, глядя, как элегантный джентльмен кладет в корзинку кочанный салат и лук-порей. «Уроды, штаны зашейте!» «Дура, зачем дите в магазин потащила!» «Козлы молодые, вам курить вредно!» «Жирные бляди, куда конфеты жрать!»

И так далее. Критические замечания перемежались рефреном: «Я инвалид!» – как будто быть инвалидом – это какая-то особая заслуга, результат многолетних усилий, недооцененных пока равнодушным обществом.

Прочие покупатели не обращали внимания на вопли, только брезгливо обходили строгого критика стороной, почитая за благо обойтись сегодня без горячей выпечки, возле лотка с которой как раз выступал несостоявшийся модный блоггер-публицист.

Этот несчастный алкаш, – осенило меня уже на выходе – натурально персонификация критического ума, угрызающего изнутри всякое бескрылое двуногое органическое существо, обученное хотя бы азам искусства речи (и, следовательно, думания). В любом человеческом сознании скачет такой вот опухший, вечно хмельной от собственной правоты, гордый собой калека, выкрикивая: «зачем эта жирная дура обтягивающие штаны надела?» «что за жлобская харя из аптеки вышла?» «только недоумки путают «тсья»-«ться» на письме!» «какой у этого дядьки подбородок безвольный!» «у собаки морда тупая» «какой бездарный козел левой задней ногой этот плакат малевал?» – и это только самые простые примеры, почти безобидные на фоне всеобщего недовольства всем.

В моем сознании он тоже скачет. Мой критический ум – самый злобный и грязный пьяный инвалид на районе. Вам и не снилось.

Я с детства (правда, не раннего, родили меня все-таки ангелом, предоставив счастливую возможность испортиться самостоятельно и, таким образом, дотошно изучить процесс) могу раскритиковать вообще все что угодно. Начиная от любимого мороженого и заканчивая оттенком невидимого света, непрерывно изливающегося из космоса на мою неблагодарную макушку. Уж будьте покойны, придумаю, к чему придраться: бледненький он какой-то сегодня, этот ваш космический свет, зеленоватенький, как сопля, тьфу.

Если дать ему волю, мир быстро превратится в безбрежный океан яда. Хочешь – барахтайся, хочешь – пей, хочешь – камнем ко дну. Вот и весь выбор.

Именно поэтому, выходя из дома в синий вечерний декабрьский мир, я поднимаю глаза, смотрю на заснеженные, как с рождественской открытки деревья и говорю: «ах». Неважно, насколько искренне, главное – выработать полезную привычку.

Потом украдкой высовываю кончик языка и в очередной раз убеждаюсь, что декабрьские снежинки сладкие на вкус. Тоже дело.

Потом лезу в клумбу с анютиными глазками – как там они? Я их даже фотографировать не стану, просто бескорыстно посмотрю, как они цветут под снегом. Такие хорошие.

Потом я наконец опускаю очи долу, с нежностью гляжу на грязно-бурое хрючево под ногами. Думаю восхищенно: «Надо же, снег, а как тепло!» И, окончательно воспрянув духом, иду чистить от ослепительно белого снега свою прекрасную машину, самой красивой в мире синей щеткой, приплясывая под музыку, специально припасенную для такого случая. Я же, на самом деле, очень люблю танцевать, но вечно об этом забываю, а тут такой повод.

Критический ум мой уже давно лежит на земле, закрыв голову руками, прикидывается мертвым. На самом деле, он, конечно, готовит ответный удар. Сейчас ему не понравится, как маневрирует встречный автомобиль. И как медленно стартует со светофора придурок на ауди. И какая идиотская шапка у той тетки в троллейбусе. И...

Ничего, пусть старается. Все равно его война давным-давно проиграна. Я знаю ему цену. И я всегда начеку.

Знаменитую фразу Бойса «Каждый человек – художник» обычно употребляют, вырвав из контекста. От этого может возникнуть представление, будто речь шла о потенциальных художественных талантах каждого – типа только краски да скрипку в руки дай, и понесется.

На самом деле, штука в том, что Бойс, будучи не только художником-шаманом, но и политиком-романтиком, обычно говорил о вкладе каждого человека в формирование нового общества.

И при этом (справедливо) полагал искусством все происходящее.
То есть, вообще все.

Итак.

Каждый человек художник, хочет он того или нет, просто по факту существования. Так или иначе, а свою лепту в общую симфонию действительно вносит каждый.

И хотя бы уже поэтому следует стараться, чтобы любой жест был вдохновенным и осмысленным. Вообще всякий, включая утреннюю дойку, поездку на городском транспорте, чистку картошки и смену постельного белья. Потому что быть вялым, унылым, бездарным художником, чья фальшь вечно портит песню – прискорбная судьба, врагу такой не пожелаешь.

Кстати, с этой точки зрения особенно забавно выглядят отношения человека с Богом. Верит ли художник в свою аудиторию, и если да, то как он ее себе представляет? И каких плюшек ждет за труды?

И

Иногда среди ночи, часа в два – три, мы идем, или едем на ту улицу, где жили раньше. И смотрим на свои окна: как мы там? Уже спим, или еще нет?

Иногда человеку совершенно необходимо знать о себе такие вещи.

Сегодня мы спали.

Иногда хочется написать о любви.

Такой взаправдашний текст о любви, в которую верят почти все девочки и некоторые (на вес золота) мальчишки. То есть, о возделении, тщательно переработанном разумом и сердцем, так что на выходе получается набор чувств, от которых в глазах темно, и под ногами вместо земли какая-то незнакомая планета, вязкая и шаткая одновременно. И если умирать, то вот прямо сейчас, пока...

Пока.

Вместо этого я всегда пишу о зеркалах.

О том, как изредка в зеркале появляется лицо, почти не похожее на то, которое я (здесь, сейчас) считаю своим. И смотрит на меня. То есть, мы оба смотрим друг на друга. И у меня в глазах темно, и под ногами вместо земли какая-то незнакомая планета, вязкая и шаткая одновременно. И если умирать, то вот прямо сейчас, пока...

Ну, как-то так. Примерно. На этом вашем человеческом русском языке вообще хрен поговоришь о любви. Не для того он придуман.

Мы смотрим друг на друга и думаем: ну да, не в этой жизни. Ну и хрен с ним. Какие наши годы, успеется еще.

Я иногда улыбаюсь до ушей, а иногда почти реву. А мой зазеркальный не-двойник всегда спокоен. Такое уж у него воспитание.

А потом я иду по своим делам – жить жизнь.

Будь благословен этот мир, в котором есть зеркала.

К

...как будто стою на пороге – по-домашнему, в меховых тапках и теплой пижаме, в зубах ванильный сухарик, или куриная котлета, или что там обычно к чаю подают. Но дверь уже открыта, и я вижу там необозримый, прекрасный, сияющий мир, неведомый и знакомый одновременно, пока без подробностей, общую картину, воздух и свет, и стою, затаив дыхание, но скоро, уже вот-вот вдохну, и тогда пути назад мне не будет.

Вот и хорошо, вот и не надо.

Как же я люблю проезжать ночью через чужие города, совершенно пустые, освещенные разноцветными рекламными огнями, тусклыми уличными фонарями и желтым законным светом.

Ночной город – это самая честная реальность, где тьма, свет и ветер властвуют безраздельно, а люди знают свое место, не мельтешат, сидят по домам и делают посильный вклад в дело света и тьмы, включая и выключая лампы.

Путешествовать, на самом деле, надо именно так – автомобилями и автобусами, сквозь сотни километров тьмы, света и ветра.

Как «они» побеждают

Взять хотя бы тот же спам, рассылаемый в виде писем и комментариев. На самом деле, совершенно безвредная, хоть и докучливая херня; как мне всегда казалось, практически бесполезная для рассылающих, потому что рассчитана на совсем уж бедных болванов, зачем-то открывающих всякое письмо, присланное с незнакомого адреса, и покорно кликающих на всякую ссылку. Впрочем, говорят, таких довольно много.

Но я не о том.

Я о том, что спам – небольшая проблема, пока сыпется в наши почтовые ящики и комментарии. Увидеть, оценить, удалить – дело доли секунды, не о чем говорить.

Настоящие проблемы начинаются, когда специально обученные борьбе со спамом почтовые сервисы автоматически отправляют в спам нужные, даже долгожданные письма, иногда просто в голову не приходит там поискать, и так прерывается связь между корреспондентами, случается, навсегда – если они, предположим, не слишком близко знакомы и не имеют возможности прояснить недоразумение.

Я хочу сказать, спамеры побеждают не в тот момент, когда какой-нибудь наивный пользователь идет на их сайт, а когда слишком много нашего времени и усилий уходит на борьбу с последствиями борьбы со спамом. И всем кажется – это нормально, как же еще может быть. Зато мы защищены от спама. Зато мы защищены!

Или, скажем, (внезапно) террористы. Они побеждают вовсе не в тот момент, когда взрывают группу невинных граждан, это совсем не победа, а так – успех одной локальной операции, и не факт, что такой уж большой успех. Победа терроризма наступает, когда работники служб безопасности в разных аэропортах мира начинают «тщательно досматривать» всех пассажиров подряд, кричать на них, понукать, хамить, придирается к бессмысленным мелочам, а пассажиры молчат, как покорное стадо, твердя: «Это ради нашей же безопасности, надо терпеть».

Сейчас столь скверное поведение редкость, но сразу после 11 сентября 2001 года оно было вполне повсеместно, я помню, очень неприятно стало тогда куда-то летать.

И еще террористы побеждают в тот момент, когда из-за забытой кем-то в метро газеты поднимается истерический визг, и поезд останавливается в подземелье между станциями, и сотни человек трясутся от страха вместо того чтобы спокойно ехать по своим делам. Зато мы защищены от террористов. Зато мы защищены!

Или, скажем, когда – от чего вы сейчас особенно громко верещите? – о! педофил! – тащит куда-то ребенка, это, конечно, совершенно чудовищное происшествие, но о какой-то победе и речи нет. А вот когда миллионы взрослых людей во всем мире вдруг понимают, что бояться обнять чужого ребенка (да и своего, пожалуй, лучше не надо, целее все будем), поиграть с ним, схватить на руки, подбросить, поймать, закрутить, в этот момент приходится признать, что зло победило.

В мире стало настолько меньше любви и настолько больше страха, что может и ну его к черту совсем – мир, где сосед дядя Жора не станет катать нас с Наташкой на санках, а соседка тетя Валя с криком убегает при всякой моей попытке залезть в ее кресло и обняться, просто так, от полноты чувств, и еще потому что мы ходили сегодня вместе за ежевикой, и это было здорово (но мы, конечно же, никуда не ходили, с чужим ребенком, в лесопосадки – вы что?!)

Зато мы защищены от педофилов. Зато мы защищены! Даже, знаете, как-то не смешно.

И, кстати, я уже давным-давно понимаю, что, скажем, во Второй Мировой на самом деле победили нацисты – таким причудливым, непонятым им самим способом. Потому что когда каждый второй условно интеллигентный человек считает своим культурным долгом время от времени сложить ротик куриной гузкой, сказать: «Эти немцы такие неприятные фашисты, все как один», – это и есть настоящий нацизм, именно так и устроена голова нациста, а как же еще. Мир прост, понятен и привычно, успокоительно страшен: все немцы – фашисты, русские – пьяницы и скоты, негры, китайцы, арабы, евреи – ну сами что-нибудь обидное про них придумайте, не маленькие, у меня все равно не получится, потому что мой опыт и здравый смысл подсказывают, что все, в общем, разные, сознание формируют язык, культура и прочий общий контекст, а вовсе не национальность, в этом смысле я совершенно не в тренде, у меня, такая трагедия, есть голова на плечах, в голове хлюпает умный мозг, и знали бы вы, как мне – даже не страшно, скорее грустно ходить среди вас, время от времени мягкая, как голодный котенок: «Думайте, думайте, думайте, хотя бы несколько секунд думайте перед тем, как выключить голову и завизжать от страха за компанию с уважаемым человечеством, потому что здесь и сейчас носят так».

Но я все равно, конечно, хожу и мякаю, потому что воинский долг никто не отменял.

Как-то вдруг дошло, что у меня нет имени. Уже давно.

То есть произносимого и написанного – нет. Есть имя-из-паспорта, имя-со-школьных-времен, имя-часть-работы. Не имена – а так, цветные наклейки, чтобы было примерно понятно, о чем речь.

Очень примерно.

Оттого, что настоящего имени нет, служебные имена множатся. Собираясь с кем-то встретиться, я вспоминаю, как этот человек привык меня называть. Чтобы откликаться сразу, а не после того, как трижды обратится по имени и дернет за рукав. Иногда путаю, но, в общем, справляюсь.

Помню, еще летом пришло в голову, что если делать выставку картинок, или, к примеру, книжку-альбом. Это же придется как-то подписывать. Одним из имен, которые не имеют не малейшего отношения к условному «автору» работ.

Сразу прошло желание что-то делать.

Боже, знал бы кто, как задрало врать – не ради смеха, игры, или, напротив, спасения. А только потому, что у людей, видите ли, принято как-то называться. Положено, точка.

Какая все же невероятная нелепость эти ваши имена. И вообще почти все.

Когда мы в начале 1995-го года по ходатайству галериста Бернхарда Виттенбринка, умницы и красавца, почти точной копии Дункана Маклауда из телесериала «Горец» получили стипендию Мюнхенского магистрата и поселились на вилле Вальберта в городке Фельдафинге, вспоминая о котором я всегда говорю, что градообразующее предприятие там поля для гольфа (и это чистая правда).

– так вот, в ту пору мы были так ошеломлены обрушившимся на нас сочетанием красоты мира, возможности ежедневно вкусно есть, обаяния Бернхарда и приехавшего к нам договариваться о выставке Михеля, который как бы всегда стоял на борту невидимой подводной лодки, и немеряного, нечеловеческого количества работы, которую в связи со всем этим надо было сделать.

– так вот (я когда-нибудь все-таки закончу это самое длинное в мире предложение), в этом состоянии нам было совершенно не до соседей по вилле. Есть и есть, не мешают, и хорошо.

Одновременно с нами там были переводчица Лиля Лунгина с мужем. Мы, конечно, знали, что это та самая переводчица, которая перевела мало того, что Карлсона, так еще и Бориса Виана, чью «Пену дней» мы рвали друг у друга из рук за какое-то количество лет до этой поездки. Мы, конечно, вежливо здоровались, вместе ездили в какой-то дальний супермаркет (смотритель Франк раз в неделю по субботам возил туда желающих постояльцев на своем старом желтом мерседесе). Но, в общем, нам было не до них, а им не до нас. Что естественно.

У Лунгиных были самые крутые апартаменты – двухэтажные. Внизу кухня-гостиная, наверху спальня. Но именно для них это оказался наихудший вариант, они же старенькие уже были, им по закрученной спиралью лестнице с перилами-канатами целый день бегать было неудобно. И в один прекрасный день нам предложили (не они сами, кто-то из администрации) поменяться с ними комнатами. И мы поменялись. Хорошо, что не в первый же день это произошло, а то бы мы с ума сошли, пожалуй, от счастья. Но к моменту обмена уже как-то адаптировались. И кажется, только напились вечером от ужаса, что все это просто сон, и сейчас окажется, что пора просыпаться.

Но я не о том совсем, конечно.

А о другом.

О том, что недавно мне на глаза попала книга Лунгиной «Подстрочник». И в самом конце книги нашлась история о том, как и почему Лиля Лунгина с мужем попали на виллу Вальберта.

Они, оказывается, получили стипендию по ходатайству Михаэля Энде, автора «Бесконечной истории», с которым Лиля Лунгина вступила в переписку, потому что очень хотела

перевести и издать его книгу в России, а денег на это не было. И сперва она получила ответ от издательства, у которого были права, а потом – хлоп! – и приглашение пожить на вилле под Мюнхеном.

Лиля не так хотела эту стипендию, как познакомиться с Михаэлем Энде. Ей все говорили, что это невозможно, он живет затворником, ни с кем не встречается. Но он ей все-таки позвонил, и они встретились. И чувствовали себя так, словно знакомы всю жизнь. Михаэль обещал вскоре позвонить, но надолго пропал, наконец все-таки позвонил – уже из больницы. Сказал – такие дела, но меня можно навестить. Навестили.

А потом Михаэль опять не звонил очень долго, вернее, уже никогда больше не звонил, потому что умер – вот прямо пока Лиля с мужем сидели на вилле и ждали его звонка.

Я теперь знаю, что старики, с которыми мы поменялись комнатами на вилле Вальберта, вот прямо тогда обрели одного из самых близких друзей в своей жизни, два раза с ним встретились, говорили взахлеб обо всем сразу, а потом получили известие о его смерти и уехали.

Это какая-то поразительная штука, когда тебе вдруг рассказывают, в тени каких событий тебе довелось постоять много лет назад.

И о том, что на самом деле произошло в то время и в том месте, где лично для меня по ряду причин (в основном непроговариваемого и почти недоступного аналитической обработке свойства) закончилось изобразительное искусство и начался текст.

Когда человек говорит, что все уже было, он просто жалуется, что ничего еще толком так и не было.

Когда я вырасту, я хочу быть умеренно богатым бездельником, который ничего никому не должен, включая Небесную Канцелярию и самого себя, для которого единственное «надо» – ежедневный душ, да и то, если неохота, можно пропустить. Который может просто бесцельно и почти бессмысленно слоняться по улицам города, а как надоест, уехать в лес, или к морю, или в другой город и там продолжить душеполезное свое занятие.

Все это пошло бы мне впрок. Если кто-то из людей и способен правильно распорядиться бездельем, тишиной и свободой (которая равна не просто одиночеству, но никому ненужности), то этот, условно говоря, человек – я.

Но вместо этого я сижу по самые уши в кошках, друзьях, цветах и дурацких обязательствах, торгую пеплом своего внутреннего молчания (плоховато торгую, но, положив руку на сердце, кто вообще справился бы со столь причудливым товаром), дурацкий падший ангел в поисках метафизической зеленки для разбитой при падении коленки, изо всех сил держу окружающую реальность, как аэрофобы, вцепившись в подлокотники кресел держат самолет, чтобы не рухнуло вотпрямшас, дальше не загадываем.

Поэтому вотпрямшас над городом светит яркое солнце, по натянутому надо мной белому тенту стучит дождь, вдалеке гремит гром, ветер сдувает со столов не только картонные стаканы, но и металлические пепельницы, рядом хохочут укрывшиеся от дождя немецкие туристки, им, как я понимаю, лет триста пятьдесят на четверых, полет нормальный.

Дальше не загадываем, конечно.

Конечно.

Когда я думаю о литературе (гораздо реже, чем могло бы показаться, чего о ней думать, прыгать надо),

так вот, когда я о ней все-таки думаю, я думаю о книгах, которые читают люди в больницах. Особенно в таких непростых, страшных больницах – ну, вы знаете. И дома в кровати. Неважно, на самом деле, где. Что читают люди, когда сильно болеют, точка.

Понятно, что все разное, понятно, что зависит это чаще от того, кто к чему привык, кто как умеет развлекаться (и отвлекаться).

Но все равно, мне очень важно, что читают люди, когда хотят не умереть.

Если бы был хоть какой-то смысл устраивать литературные пузомерки (нет такого смысла), это – единственный критерий, к которому можно прикладывать портновский метр: как часто читают эту книжку люди в больницах? И сколько тех, кто читал эту книжку, остались в живых? А скольким стало немножко меньше страшно? А скольким стало не страшно совсем?

И ведь не то чтобы я такой уж гуманист. Но меня совершенно завораживает победа над смертью. Когда маленький смехотворный комочек нежных, ненадежных кишок – хоп! – и вдруг побеждает смерть. Понятно, что ненадолго. Понятно, что успех хрен закрепíšь. Но выиграть всего один раунд у такого тяжеловеса – это уже невысказано. Невозможно. Невообразимо. Ради этого, может быть, вообще все. Ну, или многое.

И вот люди в больницах. Слабые, перепуганные вусмерть, в обстановке этой, как будто специально созданной для дополнительных мучений. Читают. Книжки. Дурацкие и не очень, всякие. И некоторые так зачитываются, что забывают, что надо страдать и бояться. А потом даже как-то упускают возможность умереть в страхе и муках. Понятно, что будут потом другие возможности. Но пока – нет.

Для меня это очень важная задача литературы. Возможно, не единственная, но очень важная – именно для меня, сегодня, сейчас, всегда.

Когда-то мне удалось увидеть пьесу «Враги» Яромира Хладика. И мне, помню, совершенно не с кем было ее обсудить, разве только соответствующий рассказ Борхеса, но при чем тут рассказ.

Я с тех пор живу, зная, что я каким-то чудесным образом и есть тот самый тайный зритель, для которого старался драматург, и Борхес наверняка знал, что кто-нибудь из его читателей не просто прочитает рассказ, а увидит пьесу, иначе зачем вообще все.

И то же самое было с романом, описанным в замаскированном под рецензию рассказе Борхеса «Приближение к Альмутасиму». То есть, я огромные фрагменты до сих пор помню – не рассказа, а именно романа. Не наизусть, конечно, а так, в общих чертах. Много позже некоторые страницы «Арабского кошмара»³ поразили меня сходством, причем стилистическим, как будто один и тот же переводчик... – и только потом до меня дошло, что откуда бы тут взяться переводчику.

Удивительно все-таки, что до сих пор мне как-то в голову не приходило, что об этом можно поговорить. И, тем более, написать. Надо же.

³ Роман британского писателя Роберта Ирвина.

Я не люблю отвечать на дурацкие вопросы из серии «какую книгу ты возьмешь с собой на необитаемый остров», но на практике получается, что я, конечно, возьму туда Борхеса. То есть, книгу-то брать не стану, просто я и без нее никуда не денусь от текста, который живет во мне так долго и так продуктивно, что вряд ли теперь можно отделить одно от другого, определить, где заканчиваюсь я, и где начинается борхесовский текст, который я живу с восемнадцати, что ли лет, непрерывно перечитывая, переосмысливая, пересматривая, осваивая, практикуя. То есть, физически я его перечитываю очень редко, раза три с тех пор, может быть, не больше. Да и это было не обязательно, я и так состою уже из этого вещества.

Борхес использовал литературу не по назначению, вот в чем дело.

То есть, не так даже. Борхес помог литературе вспомнить ее подлинное назначение – быть мостом из пространства обыденности в пространство мифа, быть пищей, водой и компасом для тех, кого за каким-то чертом занесло на этот мост, и теперь надо идти, вперед ли, назад ли, неважно, да и кто разберет на этом мосту, что в какой стороне.

Я все время невольно сверяю свою жизнь с текстами Борхеса, и это бывает очень забавно – думать: ага, вот, оказывается, каков Алеф. И вот как действует Заир. И прошлое, смотри-ка, действительно пластично, вот это уже изменилось, и вот это, и вот, и свидетели, бедняги, твердят прямо противоположное тому, что говорили десять лет назад.

Я уже знаю, почему человек, прочитавший тайное имя Бога на шкуре ягуара, не стал ничего менять. И почему для придуманного во сне так важно было шагнуть в огонь, чтобы узнать свою природу. И как появляются (действительно ведь появляются!) хрениры. И как весь мир может стать Тленом, хотя на практике это все-таки слишком медленно происходит, и сдувается на полпути, потому что сила инерции велика, и надо больше стараться.

То есть, для меня все это теперь такая документальная проза. Увлекательное научно-популярное чтение для самых маленьких на тему «Как устроено ВСЕ».

Поразительно все же, насколько мощное влияние на меня оказало то, что выглядит как просто литература.

Кошка поймала птицу. Замучила, заиграла, искалечила, почти убила, прижала к сердцу мягкой, без когтей лапкой и вылизывает.

Этот мир полон любви.

Коэффициент уместности чьего-либо бытия вычисляется так: объем приносимой субъектом радости делится на объем приносимого субъектом горя (скуки, уныния, принуждения, страха и т.п.).

Мне интуитивно всегда это было ясно. Поэтому даже в худшие (особенно в худшие) времена мне удавалось выглядеть так, чтобы вызывать у прохожих хотя бы тень внутренней улыбки. И говорить так, чтобы смешить (с этим пунктом такая беда, что потом говоришь серьезно об очень серьезных вещах, а собеседники все равно ржут; но лучше уж так, чем наоборот).

В моих руках очень страшное оружие, данное мне от природы – дар убеждения. Особенно дар трагического убеждения. Если я буду страстно и вдохновенно рассказывать, что жизнь прекрасна, поверит примерно треть слушателей – те, кому этого вот прямо сейчас этого хочется. Если же я начну рассказывать, как все ужасно, мы все скоро сдохнем и попадем в

ад, там нас съедят, и станет еще хуже, поверят вообще все. Довольно быстро. Самые жизнерадостные продержатся максимум четверть часа. Причем никто даже уши заткнуть не сможет – такова сила моего обаяния рассказчика. Проверено было не раз на самых отборных экземплярах оптимистов; к счастью, я давно в завязке. Вы не представляете, как вам повезло.

И тем более не представляете, как повезло мне. Потому что, похоже, времена, когда мне приходилось держать себя в руках и строго контролировать течение трагических потоков, миновали. Это больше не искушение, а скука смертная, нелепое, бессмысленное занятие – рассказывать, как все ужасно. Тем более, «все ужасно» – это всего лишь малая часть правды о жизни, озвучивать ее, не упоминая о прочих аспектах, еще и интеллектуально несостоятельно, фу.

Ну то есть, в качестве певца экзистенциального ужаса мне боле не блистать. И захочу – уже не получится.

Какое счастье.

Куда ни попаду, довольно быстро выясняется, что в этой куданипопаде я уже сижу, или как-нибудь очень удачно стою с кофе (порой в картонном стакане, но когда это меня останавливало) и сигаретой.

Вероятно, в Бардо все будет выглядеть примерно так же: Гневные Божества пришлют смс – типа, щас-щас-щас, мы тут задержались, будем буквально через четверть часа, Милосердные Божества позвонят и спросят: а ты где вообще? А это где?.. А?! Оййй!

И я стану сидеть в пустоте, и в одной руке у меня будет череп с кофе (из местного автомата, мелочь для которого знающие люди всегда старались брать с собой на тот свет, и даже специально сочинили жадину-Харона, чтобы родичи монетки не сэкономили), а в другой – дымящаяся сигарета. Какое-то время спустя, так никого и не дождавшись, я докурю, допью кофе и, вероятно, воскресну. И уж тогда – берегитесь!

Л

Люди крайне редко, очень эпизодически осознают, что живы.

И даже понятно, почему. Защитный механизм психики не дает условно нормальному человеку задумываться о смерти. Все как бы знают (теоретически), что смертны, но без глубокого осмысления, на поверхности – ну, пока могут себе позволить. То есть, пока совсем близко не подойдет.

На первый взгляд, очень милосердный механизм.

Но у этой защиты есть обратная сторона: острое ощущение жизни тоже гасится. Тоже становится поверхностным теоретическим знанием – ну жив я, ачотакова, все живы, хочешь жить, умей вертеться, не полижешь – не укусишь etc.

И вот это, конечно, полный крах божественного замысла на отдельно взятом участке.

М

Маленькая белая кошка может часами сидеть на балконных перилах в том месте, где они заканчиваются. И дальше в более-менее доступном пространстве – только гладкая стена. Ни подоконника, ни соседнего балкона, ни дерева – ничего вообще.

Все-таки маленькая белая кошка настоящий художник: сидит на самом краю доступного, смотрит в недоступное. Все бы так.

Я тоже сижу на краю доступного, смотрю в недоступное, чего увижу – записываю, чего не увижу, не записываю, все просто.

А когда не вижу ничего, продвигаюсь еще на шаг вперед. И опять вижу что-нибудь.

Главное, чтобы маленькая белая кошка не пыталась повторить этот фокус в домашних условиях.

Меж тем, совершенно не имеет значения пресловутое «что хотел сказать автор?»

Насколько внятно у него получилось высказаться – это значение имеет, конечно. Но, честно говоря, невеликое.

По большому счету, важно только одно: изменил ли автор мир. И если да, то в какую сторону. Это единственный из «вопросов литературы», который занимает меня.

(Тут следует заметить, что некоторые небольшие перемены происходят всегда, или почти, и фишка, в общем, не столько в масштабах, сколько в векторе.)

Мне в детстве родители подсунули в воспитательных целях чью-то народную сказку про лентяя, который так всех достал своим бездельем, что жители деревни решили от него избавиться и повезли вешать. А навстречу добрая барыня. Спросила, в чем дело, пожалела лентяя, сказала: «не губите живую душу, у меня полный амбар старых сухарей, везите его туда, пусть лежит там, размачивает сухари в воде и ест». «Это что же получается, – сказал лентяй, – каждый божий день сухари в воде размачивать? Нет уж, везите вешать.»

Родители почему-то думали, что эта история пробудит во мне совесть, а вместе с нею желание повседневно ишачить по дому и делать другие неинтересные вещи; они, конечно же, ошибались. Вместо этого сказка помогла мне понять природу явления, которое называют ленью. Лентяи – это люди, словно бы специально созданные, чтобы противостоять рутине, просто они не знают, как. Поэтому вообще ничего не делают, или хотя бы стараются делать поменьше. Или же выучиваются применять силу воли и превращают свою жизнь в бесконечное, зато социально одобряемое страдание.

Фокус же в том, что если разжечь в себе внутренний огонь страшной силы, рутина (вернее, представление о рутине) исчезает практически сразу, и потом уже можно делать все что угодно. А можно продолжать не делать ничего, и тогда из леса притопает енот и начнет свежевать себя, чтобы ради нашего пропитания возлечь на костер, в точности как в истории про Хогбенов.

И я понимаю этого енота.

Обаяние внутреннего огня совершенно неотразимо.

Действительно.

Многим изучающим какое-либо из искусств (думаю, на самом деле, не только искусство, но предпочитаю говорить лишь о том, что знаю твердо) кажется, что главное – **ВЫУЧИТЬ ВСЕ ПРАВИЛА** и **НИКОГДА НЕ ДЕЛАТЬ ОШИБОК**. И тогда все будет «хорошо».

А вот фиг.

Соблюдение правил – просто один из инструментов. Равно как нарушение правил – еще один из инструментов. И знать правила нужно только для того, чтобы применять эти инструменты осмысленно.

А так называемое «хорошо», чем бы оно ни было, получится только если повисеть в ветвях на ветру девять долгих ночей⁴. Да и то без гарантий. Инициация – тоже только один из инструментов, а не приговор районного суда к пожизненной гениальности.

Но это уже совсем другая история.

Мне кажется, что человек приходит в жизнь за опытом.

Понятно, что опыт этот нужен нашей бессмертной части. Единственное имущество, которое можно таскать за собой из существования в существование. (Уточнение: сохранить опыт не означает непременно его запомнить; так большинство людей практически не помнит свое раннее детство, но это совершенно не мешает полученному тогда опыту быть фундаментальным и формирующим – простейший, зато наглядный пример.)

Бессмертная часть человека – это не ум. И, тем более, не «душа» – бестелесный призрачный двойник, как на картинках о загробной жизни. Бессмертная часть человека – это та часть сознания, которая осознает себя в момент остановки ума (выключения внутреннего диалога). Она же действует в сновидениях, особенно полно – в тех, которые мы не помним; собственно, потому и не помним, что не можем себя услышать из-за фоновых шумов обыденности.

По большому счету, важно только одно: сколько секунд, минут, часов, месяцев, лет нашей жизни мы жили целиком. То есть, с активированной, действующей, осознающей себя и все остальное бессмертной частью. Остальное не имеет значения.

И еще более важный вопрос: сколько секунд, минут, часов, месяцев, лет наша бессмертная часть испытывала радость? Потому что радость – тот самый опыт, который нужен бессмертному существу, чтобы формироваться, крепнуть и расти. Потому что радость – вещество, из которого состоит Бог, такие дела.

Если есть в человеческой жизни по-настоящему важные «достижения», они только из этой области. Сколько секунд, минут, часов, месяцев, лет вы испытывали радость? Сколько секунд, минут, часов, месяцев, лет радости ощутили другие люди при вашем участии (благодаря вам)? Это и будет взвешиваться на тех самых весах, где всех нас гарантированно сочтут непростительно легкими и снова отправят пасть на бескрайние поля бытия. Которые мы – вот прямо сейчас – засеваем.

Или не засеваем. Кто как.

⁴ Здесь отсылка к «Речам Высокого»: Знаю, висел я в ветвях на ветру девять долгих ночей, пронзенный копьем, посвященный Одну, в жертву себе же, на дереве том, чьи корни сокрыты в недрах неведомых. Никто не питал, никто не поил меня, взирал я на землю, поднял я руны, стена я их поднял — и с древа рухнул.

Просто следует помнить, что из всей нашей суматошной, избыточной, далеко не всегда осмысленной деятельности только этот результат действительно ценен.

Мне напомнили о (моем же) высказывании: «чтение – искусство сновидения для ленивых». (Мне, собственно, по-прежнему кажется, что так и есть.)

И тут мне в очередной раз стало понятно, что чтение (как, собственно, и сны) всегда были для меня абсолютно равноценной частью жизни. Не способом коротать досуг, а именно что полноценным бытием.

Такой подход сформировал совершенно специфические требования к литературе. И соответствующий круг чтения (в первую очередь, плотные атмосферные тексты, максимально полноценно воссоздающие реальность, в которой мне по тем или иным причинам комфортно находиться, тексты-медитации, определенным образом воздействующие на сознание и даже отчасти останавливающие ум, и тексты-галлюцинации – те, в которых иная реальность ярка, а плотности нет вовсе; хороший пример – записки Марко Поло).

И, конечно, соответствующее намерение при письме.

С точки зрения читателя моего типа, и цели, и задачи литературы (если уж формулировать их человеческими словами) – прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно. И просто больно чтобы тоже не было, потому что боль – иллюзия. Настолько, впрочем, достоверная, что с возрастом начинает казаться, будто боль и есть правда о жизни, более того, что боль – и есть сама жизнь.

А это вранье.

Многие, я знаю, ищут в литературе именно что боли, полагая ее – кто так называемой «правдой», кто просто целительным лекарством для души. Но в этой палате я совершенно точно не доктор и даже не пациент. В нашем буйном отделении своих забот полно.

Собственно, новость тут только одна: опыт показывает, что читателей моего типа (не разделяющих чтение и деятельную жизнь) совсем мало. И это объясняет мне почти все про вектор развития литературы. И даже отчасти примиряет с ним. Но с толку конечно не собьет.

Молитва о ключах от служебного туалета

Давным-давно, еще при советской власти, когда водка стоила три-шестьдесят-две, добрый мертвый дедушка-Ленин приходил из царства Хель, чтобы спеть колыбельную каждому непослушному октябренку, любая женщина-космонавт имела гордое право стать шпалокладчицей (сразу после того, как помоем пол и сварит студень), а дикие жители Среднерусской Возвышенности тайно поклонялись изображениям тарабарских идолов в темно-синих штанах – так вот, в те времена одна моя близкая родственница загремела в дурдом.

В смысле, в самый настоящий. На правах психбольной. Не знаю, как принято сейчас, а в те прекрасные стародавние времена в дурдом запирали за клиническую депрессию – всех, кому не хватало образования и житейского опыта так аккуратно сформулировать свои жалобы, чтобы добрый доктор и колеса прописал, и в ад при жизни не отправил. Где в одной палате с дюжиной психов, половина которых ходит под себя, в обществе хорошо воспитанных санитаров, приученных вязать пациента в ответ на любую реплику типа: «Не правда ли сегодня хорошая погода», – клиническую депрессию как рукой снимет.

Ну, то есть, предполагалось, что так.

Короче. Попала эта моя родственница в дурдом. Ей там, конечно, понравилось. Но не очень. Настолько не очень, что когда речь зашла о повторном заключении, ей хватило здравого смысла наложить на себя руки. Так что все для нее закончилось хорошо – насколько это вообще было возможно в сложившихся обстоятельствах.

Но прежде чем наложить на себя руки, благодарная узница советской психиатрии, без пяти минут спасенная от клинической депрессии, успела поделиться впечатлениями с теми немногими, кто соглашался ее слушать. Ну, потому что вообще-то человека, только вышедшего из дурдома, никто особо не слушает. Что тоже наверное способствует скорейшему исцелению. Хотя бы теоретически.

И вот одна из ее историй.

В дурдомовском туалете нельзя было закрываться. То есть, все кабинки без дверей, а в зрительном зале присутствует санитарка и внимательно наблюдает за процессом. Моя родственница, не привыкшая к сценической славе, сперва страдала запорами и уговаривала, чтобы ей разрешили посещать другой туалет, с дверью. Ей неизменно отвечали, что это невозможно: кто вас знает, мало ли, что вы там за закрытыми дверями будете вытворять.

Пришлось привыкать к публичным дефекациям.

Но ужас, по словам моей родственницы, состоял даже не в этом. А в том, что, вернувшись домой через месяц, она стала бояться запереться в туалете. С формулировкой: «Кто меня знает, мало ли, что я за закрытыми дверями натворю».

Мне кажется, что с большей частью современного человечества ровно та же беда. Поэтому любое новое ограничение свобод воспринимается с тайным облегчением. Запретите нам законодательно жрать кактусы, ругаться матом, курить перед расстрелом, печь яйца в микроволновке, петь ноту «ля», трахаться в позе «дилижанс», носить розовые носки, фотографировать брюнеток в шортах, онанировать по пятницам, смотреть левым глазом на перепелов, пересекать границу своего микрорайона, носить неглаженные трусы, запретите нам всего, да побольше и следите за нами построже, а то кто нас знает, что мы начнем вытворять.

Доктор, если уж мы с вами решили меня пока отсюда не выписывать, дайте хотя бы ключи от служебного тубза. А то чего.

Мы уже много лет подкармливаем птиц зимой, эта привычка сложилась еще с очень бедных времен, когда в душе ощущаешь себя натурально конунгом, рожденным на свет, чтобы ломать и раздавать на удачу серебряные обручья всем, до кого можно дотянуться, а дать при этом нечего – никому, только хлебные крошки можно смести на ладонь и отправить не в рот, а на подоконник, для птиц, смиренная жертва вечно голодного бедняка, покупающим часы и сумки стоимостью в половину человеческой жизни, этого не понять, наша радиостанция передает им привет и ставит песню. На выбор.

Да, так вот, привычка подкармливать зимой птиц осталась с незапамятных времен, и у нас всегда кормушки на подоконниках и балконах, где живем, там и кормушки, а в кормушках уже давно не сиротские хлебные крошки, а специально купленное зерно и сало на веревочках для синиц.

Зачем я, собственно, все это рассказываю. Штука в том, что только этой зимой до меня наконец дошло, что пакеты со странными тяжелыми темными шарами, лежащие во всех супер-

маркетах в отделах «все для сада-огорода» – это специальный зимний корм для птиц. Помещенные в сетку пропитанные жиром мячики из неведомо (мне) чего, обильно насыщенного зерном и шелухой. К шарикам приделаны специальные веревочки, остается только найти, куда их подвесить, никаких хлопот.

Уяснив тайный смысл темных шаров, я теперь невольно обращаю на них внимание. И оказалось, что у нас в Вильнюсе это чуть ли самый ходовой товар. То есть, зимой пакет с шариками был чуть ли не в каждой второй корзине.

Очень трогательно было наблюдать очереди у кассы – практически у всех в корзинках пакеты еды для птиц. И висят шарики в сетках всюду – на окнах, в садах, на балконах и просто на карнизах. И птицы всю зиму их клюют. И остаются живы. То есть, гораздо более живы, чем могли бы.

А нам того и надо.

И мне, знаете, так нравится постепенно складывающаяся картина мира. Нравится, что наевшееся за мирные годы европейское человечество, устало сыто булькать собственным пищевым трактом и начало понемногу отрываться от семейных телевизоров и оглядываться по сторонам – кого бы еще накормить?

Альтруизм – это просто нормальное состояние психики современного сытого цивилизованного горожанина. А его отсутствие давно уже пора расценивать как душевную болезнь. Которая вряд ли лечится мором, гладом и чумой, сколько раз уже пробовали. Возможно повсеместная мода на кормление птиц станет более действенным лекарством.

Не мир, не меч, я просто дам вам откусить от своего бутерброда.

Два раза.

Мы пили чай из стеклянного чайника, и друг мой удивлялся, что чайник, такой тонкий и прозрачный, прекрасно выдерживает резкие перепады температуры – вымыл ледяной водой из-под крана, плеснул туда кипяток, и ничего.

– Ну, по идее, – говорю, – так и должно быть, в инструкции написано, что чайник огнеупорный.

– Мало ли, что там написано.

– Да, – соглашаюсь, – тоже всегда удивляюсь, когда выясняется, что в инструкции написана правда.

– Оп-па! – хором сказали мы на этом месте, потому что осознали, до какой степени, оказывается, не доверяем реальности.

Мало ли, что в инструкции написано, действительно. Написать все, что угодно можно.

Вот конкретно это тотальное недоверие к реальности, наверное, самое трудноистребимое следствие опыта проживания в условиях СССР. Если уж даже мы у себя в самом фундаменте его обнаружили.

Это же совершенно уникальная культура – такое невообразимое количество вранья, про которое было вполне общеизвестно, что оно вранье. Начиная с гастрономических отделов под названием «Сыр», где никогда не было сыра, зато продавались какие-то нелепые консервы. И так – вообще все.

То есть, человеку аналитически мыслящему очень легко было по малолетству прийти к выводу, что вообще все написанное и сказанное вслух – вранье. Которое надо заучивать

наизусть, чтобы избежать неприятностей, но совершенно бессмысленно учитывать при попытках разобраться с мироустройством. Боюсь, даже к учебникам физики отношение у меня было примерно такое же, как ко всему остальному – мало ли, что в них понаписали, это же школьные учебники, а школа – место, где учат правильно врать. И почти невозможно было поверить, что на английском языке, которому нас учили в школе, говорят настоящие живые люди где-то в других странах. (Правильно, кстати, не верилось, на таком английском, который про семейство Стоговых, действительно никто не разговаривает.)

В итоге у меня выработалась предельная (запредельная даже) степень недоверия к реальности. Мало ли, что сказано. Мало ли, что написано. Мало ли, что мои глаза видят. Мало ли, что руки нащупывают. Ничто ничего не значит – вообще! До сих пор трудно бывает поверить, что самолет, поезд, автобус, уедут по расписанию, и что мой билет действительно окажется годным, и что меня в итоге привезут, куда обещали. Всегда кажется – вот повезло! И так – во всем.

Понятно, что я не обдумываю все это с утра до вечера. Строго говоря, вообще почти никогда об этом не думаю, тотальное недоверие просто покоится в моем фундаменте, как радиоактивный отход. Лежит себе и потихоньку портит жизнь.

Самое смешное, что теперь, задним числом, я вижу, что постоянно пишу как раз о состоянии доверия к реальности, как о наиболее эффективном методе ее освоения. Вечно так – только сформулировав что-то совершенно для себя удивительное и неожиданное, можно понять, что уже давным-давно это знаешь и много чего на эту тему делаешь. Жаргонное «догнать» тут гораздо уместнее, чем его синоним «понять». Потому что вот это и называется – автор догнал собственный текст. Наконец-то.

Н

На старый почтовый адрес регулярно приходит астрологический спам, автор которого по какой-то неведомой причине называет меня «Людмила». Видать, звезды у него так враскоряку стоят.

Письма эти я удаляю, не читая, но самую первую строчку не захочешь, а прочитаешь:

– Людмила, ваша звезда сегодня

– Людмила, счастье возможно

– Людмила, вас ждет

– Людмила, Марс вступает

И вот сегодня: Людмила, какие проблемы

Звезды к неведомой Людмиле ласковы, даже досадно порой, что адресованные ей письма приходят (зачем-то) мне. Живет как дура и ничего не знает, про Марс.

Людмилой звали мою маму, которая умерла так давно, что наверняка успела переродиться во что-нибудь симпатичное неизвестного мне пола, подрасти, повзрослеть и теперь лайкает небось на фейсбуке сообщения своих приятелей: тыц-тыц-тыц. От души ей этого желаю, в прошлой жизни ей было несладко; впрочем, а кому было сладко – в прошлой-то.

Людмила, счастье возможно. Истинно тебе говорю.

Возле дома, где прошла самая качественная часть моего детства, были развалины старой гауптвахты. Мы, дети прапорщиков и старшин, прекрасно знали, что такое «гауптвахта», но

свои развалины все равно романтизировали. Говорили друг другу, что там сидели фашисты, и свято в это верили, очень уж хотелось. Фашисты в ту пору казались нам существами мистическими: их же победили, а значит, убили всех, следовательно, они – привидения. Элементарно, Ватсон. Достаточно посмотреть на обшлаг вашего левого рукава.

В детстве мы везде искали призраков, мечтали увидеть хоть одного. Интересно, что мы собирались делать в случае удачи? Понятия не имею. Вроде бы, ничего. Увидеть привидение и умереть, как будто оно – Лондон. Хотя тогда мы, конечно, не знали эту цитату. Да и про Лондон не знали ничего – просто точка на карте, одна из многих, нам еще только предстояло начать учить английский язык, много лет спустя, тогда иностранные языки начинали учить в пятом, кажется, классе – везде, кроме спецшкол, которые нам, детям прапорщиков и старшин, не светили ни при каких обстоятельствах. Нам светили неопытные училки, университетские двоечницы, пристроенные в школы по блату: «Лысыз зы пхен, дети. Хуйз он дьюты тудэй?»

ТЬФУ.

Я, получается, несостоявшийся охотник за привидениями. Вся жизнь, можно сказать, прахом. Гады все-таки эти фашисты. Мы так в них верили.

Теперь надо бы как-то красиво вырулить обратно, в сегодняшний день, написать еще один абзац, чтобы в финале его можно было вставить фразу «Людмила, какие проблемы» и таким образом закольцевать текст, но в гробу мы видели законы композиции.

И возможно, нынче ночью нам явится их (законов композиции) призрак. Исполнив, таким образом, невинную детскую мечту.

На улице Дайнавос на временном строительном заборе размашистым почерком написано: «Я люблю жизнь». И в небе над городом, кажется, написано то же самое – невидимыми химическими чернилами, но я знаю, как их проявлять.

В те редкие дни, когда температура поднимается до (почти) тридцати цельсиевых отметин, вдруг (всякий раз это заново «вдруг») становится очевидно, что Вильнюс – самый настоящий южный город. С раскаленными булыжниками старых мостовых, пыльными мальвами в палисадниках, зелеными жалюзи на окнах, простынями и сарафанами, сохнувшими на балконах домов, обшарпанных тоже по-южному, не от угрюмой скудости быта, а от счастливой жизнеобразующей расслабленности – зачем что-то менять, когда и так все хорошо. С морем где-то неподалеку, практически за углом, колотым льдом в стаканах, расслабленными загорелыми горожанами, привыкшими покидать дома незадолго до заката и часами протирать ветхие шорты по летним кафе, а работа – помилуйте, какая работа?! – ай, завтра, потом, когда-нибудь.

Я уже почти верю в это знойное, долгое (третий, что ли, день кряду) южное северное лето. Даже сейчас, в два часа пополудни, когда в темно-синем, густом как вода, ароматном воздухе звенят ледяные струны грядущего октября, который, я заранее знаю, будет так хорош, что остановится сердце, оно всегда останавливается в октябре, потому что по ту сторону октября вполне можно жить без всякого сердца, без него даже лучше, я помню, я всегда одной ногой там.

На улице Пилес во всех витринах и просто окнах первых этажей фотографии людей – цветные, черно-белые, сепия, взрослые и дети, ослепительно красивые студентки, толстые младенцы, веселые беззубые старики, трагические и комические старухи, все-все-все. И подписи

– имя плюс еще какое-нибудь слово, обозначающее род занятий. Милда, студентка; Алена, редактор; Дарюс, школьник, и так далее, и так далее.

Очень хороший, просто отличный проект, первая помощь начинающему бодхисатве, любить этих людей на картинках легче легкого, избавить их от страданий – как синиц покормить, простое, веселое, хоть и хлопотное дело, особенно сегодня, в сочельник, когда оттепель и белый свет, и теплый пахучий ветер с юга, и все мы никогда не умрем, только притворимся на минуточку, а потом кааак подскочим и дальше побежим.

Над холмом парил воздушный змей, красная птица. Я очень люблю смотреть на воздушных змеев, но мне никогда даже в голову не приходило хоть раз запустить свой.

А на холме обнимались влюбленные. Мне нравится смотреть, как обнимаются влюбленные. Даже больше, чем обниматься.

Потому что мой воздушный змей – это был бы всего лишь один воздушный змей. А обниматься – это было бы просто обниматься. Всего с одним человеком, один раз (за один раз).

И еще тут же постоянно работают причинно-следственные связи, а это означает, что со змеем много хлопот (и с кем обнимаешься, с ним, кстати, тоже много хлопот – и до, и после). И все это, конечно, очень мило, но слишком мало и слишком громоздко, целое дело, процесс.

Иное дело – идти мимо и видеть. Воспринимать.

Тогда все – мое. Все воздушные змеи и все объятия. И даже так: я – все парящие змеи, я – все, запустившие змеев, я – все влюбленные, я – все родители, которые ждут их дома, я – все прохожие, косящиеся на влюбленных, кто одобрительно, а кто не очень, я – все и все. Я – весь остальной мир – сколько ухвачу. Без хлопот, без процессов, без причинно-следственных связей. То есть, ничего руками делать не надо, вообще. Какое счастье.

Мне почти ничего не нужно, на самом деле. Только бы воспринимать. И уж тут жадность моя беспредельна. Восприятие – та самая конфетка, которую, при случае, и у сироты отниму. Ну, если вдруг голодный год. Мало ли.

Я не то чтобы вот прям все сущее. Но та его часть, которую удастся ухватить – совершенно точно я.

И побольше бы, побольше.

Надо, оказывается, натянуть себя как лук. И стоять внутри себя – выпрямившись, прицелившись. И стрелять (собой, из себя – стрелять). И сразу брать новую стрелу. Сразу, сразу, я говорю. А не полежав на внутреннем диване под диким, неразумным предлогом: «отдохнуть».

Потому что натягивать себя как лук, целиться и стрелять – это и есть отдых.

Нам всем рано или поздно предстоит тут умирать. И все что у нас будет в момент смерти – это опыт. Вся совокупность всего, что с нами успело случиться, всего, с чем успели случиться мы, все варианты этого самого «мы», все версии нашего «я», все состояния сознания. Чем богаче опыт, тем лучше мы экипированы для этого путешествия, а все остальное не в счет.

И опыт художника, то есть опыт вдохновенного созидательного акта – одно из самых бесценных сокровищ, которые можно взять с собой, умирая. Потому что в этот момент человек, как бы слаб он ни был, действовал по образу и подобию того самого непознаваемого, на встречу с которым рано или поздно пойдет.

Поэтому обучая вдохновенному бесстрашному созидательному действию, давая повод и возможность пережить этот опыт, одновременно свидетельствуя и подтверждая: «это действительно было, у тебя все получилось», – нас обучают бессмертию. И только ему.

Научиться разгонять облака не очень трудно. Гораздо труднее научиться оставить облака в покое, пусть делают, что хотят. «Пусть делает что хочет» – это и есть формула любви, ее основа; выращенное на другой основе, любовью только притворяется.

Если по-настоящему любить жизнь (то есть, позволить жизни быть такой, какова она есть), переделывать погоду просто не придется. Это, на самом деле, очень важно – не переделывать погоду. Потому что изменять погоду по-настоящему почти никто не умеет, зато бессознательно тратит силы на бессознательные же попытки ее переделать – это умеют все. Вернее, не умеют это прекратить. Да и как, скажите на милость, научиться прекращать то, чего не осознаешь?

Человек – сосуд, наполненный любовью и страхом. Чем больше одного вещества, тем меньше другого. Все остальные чувства – производные от этих двух.

Засада в том, что чувство, которое традиционно называют словом «любовь» – это просто замаскированная разновидность страха (страха упустить свое, страха недополучить и самого страшного страха потерять то, что как бы уже есть).

С любовью к жизни ровно та же фигня. Ровно та же.

Осознанность – единственный инструмент, с помощью которого можно выбраться из этого кошмара. Не нужно бороться с собой, тем более, не нужно бороться с другими (любая борьба – порождение все того же страха), достаточно просто осознавать – хотя бы одно действие и одно душевное движение из сотни. Для начала.

Не имеет значения, как ты себя ведешь, что говоришь и что делаешь, если все это происходит осознанно. Осознанные действия не бывают «плохими», они – и есть жизнь.

Осознанность – единственный ключ к свободе и одновременно сама свобода в том виде, в каком она доступна человеку на этой земле. Взять ее почти невозможно. Не взять ее – величайшая растрата, какую только можно вообразить.

Некоторые кошки не то чтобы серы

Такая удивительная штука выясняется зимой – то есть, в тот период, когда световой день очень короток.

Ночь – это правда о нас (о нашем восприятии).

Ночью мы все выходим из темноты навстречу друг другу – неизвестные незнакомцы без прошлого и будущего; на месте прошлого и будущего у каждого из нас – тьма, которую можно заполнить по собственному усмотрению, а можно не заполнять вовсе.

И это – правда.

Ночью мы видим только те предметы, на которые падает свет, и это очень точная иллюстрация работы восприятия (в рамках этой иллюстрации свет символизирует внимание).

Ночью улицы, по которым мы ходим днем, выглядят настолько иначе, что это уже совсем другие улицы. И как мы находим знакомую дорогу – это отдельный, очень интересный вопрос.

Обычно, конечно, не задумываясь, на автопилоте (как делается почти все). Но задумываться – это самое интересное, задумавшись, обнаруживаешь у себя в голове две карты города, дневную и ночную (и они далеко не всегда совпадают), или выясняешь, что ходишь, ориентируясь на приметы, которые кажутся неизменными (магазин на углу, гостиница на противоположной стороне улицы, желтые окна аптеки, сияющий купол в просвете между домами, синяя дверь соседней парадной). Или работает своего рода внутренний компас, указывающий направление (обладатели подобных компасов лучше прочих ориентируются на незнакомой местности).

Или еще каким-то способом, отличным от дневного. Или даже не отличным – некоторые люди искренне не видят разницы между дневным и ночным маршрутами, и это тоже удивительная правда об особенностях восприятия, которую каждому лучше знать о себе, чем не знать.

А днем, при ярком свете, мы, конечно, находимся во власти иллюзий. Кажется, будто мы все видим, знаем и понимаем. Будто все вокруг – действительно такое, каким мстится. И мы, прекрасные, стоим в центре раз и навсегда познанного, прирученного мира со своей алмазной перцепцией наперевес.

Ужасно смешно.

Несколько раз в году (чаще, чем хотелось бы признаваться) я иду к своему дилеру и говорю: «Чувак, у меня опять привыкание к жизни. Надо увеличить дозу».

Он ухмыляется, берет самый большой шприц и со всей дури ширяет реальность по вене – погодой.

И я говорю ему: «Спасибо, Господи», – а он смеется: «Тебе все-таки очень мало надо. Легко мне с тобой».

Ну то есть. Когда я спускаюсь, например, по холму, из верхнего золотого мира в нижний синий, уже подсвеченный оранжевыми фонарями, я сперва думаю, что дома есть кофе, молоко, яблоки, овсянка из «Маркса и Спенсера» и остатки домашней пиццы, и курица для кошек, короче, всего полно, можно не заходить в магазин. А потом я думаю, что надо бы наконец привести в порядок папки со старыми фото и дописать рассказ (честно говоря, целых три – дописать). И что круто было бы как Филип Дик, закинуться амфетаминами и писать на скорости хоть немного приближенной к внутренней, и это каким же надо быть мастером, чтобы в таких условиях писать нечто хотя бы отчасти связное и осмысленное, так что может быть даже к лучшему, что амфетаминов в ближайшей аптеке мне не дадут.

С другой стороны, думаю я, можно же выработать свои в организме – прямо сейчас.

В этот момент мне еще кажется, что я шучу.

«Тыдыц!» – говорит сердце с такой готовностью, словно все эти годы только и ждало команды, и начинает колотиться в ритме, скажем так, отчасти приближенном к моим представлениям о должном, миллион ударов в секунду, продолжительность которой столь исчезающе мала, что можно сказать, никакой секунды нет вовсе, поэтому получаем миллион сердечных ударов в одно никогда, и это уже хоть немного похоже на правду.

И тогда я думаю, что огонь в этом мире всегда приходит снизу и сверху одновременно, а не с какой-то одной стороны, и веселое рыжее пламя лижет мне пятки, а синее, способное испепелить все, чего нет, пляшет на голове, и это тоже похоже на правду.

Жизнь налаживается, думаю я, а потом ничего больше не думаю – если кто пробовал думать со скоростью миллион мыслей в секунду, которая равна одному «никогда», тот поймет, почему.

А потом я все-таки каким-то образом прихожу домой, и начинается гроза.

Ни просьба о помощи, ни согласие принять предложенную помощь никогда не являются согласием терпеть унижения.

Говорить «нет» в ответ на любую просьбу, которую вы не можете или не хотите выполнять – нормально. Никто не должен расплачиваться за ваше неумение говорить «нет».

Не предлагать помощь, не располагая необходимым для этого ресурсом – нормально. Никто не должен расплачиваться за ваше необдуманное предложение помочь, за которым не стоит ничего кроме так называемого «хорошего воспитания» и так называемого «доброго сердца».

Но если уж вы сказали «да» в ответ на просьбу, или сами предложили помощь и получили согласие ее принять, обращайтесь с человеком, которому помогаете, на равных.

На равных, и только так. А не то проснетесь однажды в пасти Люцифера, который скучным голосом скажет: «О, еще один предавший доверившихся. Расплодилось же вас! Что станет с моей талией?»

Потому что унижить того, кому помогаете, означает предать его доверие.

Мне приходилось видеть довольно много страшных вещей, которые происходят с людьми. Но весь этот опыт пошел мне на пользу. И только одно пошло мне во вред: вынужденная необходимость наблюдать, как на твоих глазах нормальный хороший человек, только что бывший более-менее близким, превращается в чудовище, готовое растоптать тебя за собственный страх, собственную слабость, собственное неумение сказать «нет», собственное «хорошее воспитание».

Потом пройдет время, и на месте звериной хари снова отрастет человеческое лицо, но веры ему уже нет. И не будет никогда. Это обрекает на одиночество. Не потому даже, что не хочется еще раз оказаться в позиции, которая традиционно считается слабой, а вот просто чтобы больше никогда не видеть таких превращений. Они оставляют в моем сердце прорехи недоверия и ненависти.

А оставаться в одиночестве такого рода нельзя. Нельзя замыкаться в себе, нельзя всегда обходиться собственным ресурсом, нельзя не предлагать свой избыток другим. Потому что человек создан для коммуникации с себе подобными, а давать и принимать помощь – одна из важнейших коммуникаций. При выполнении этого упражнения расширяются наши границы, крепнет дух и постигаются чудеса человеческой арифметики, согласно которой 1+1 может быть равно чему угодно. Да хоть миллиону.

Это если без свинства.

О

Об устремлении к недостижимому

В чистом, не замутненном умственными спекуляциями виде это выглядит как деятельная готовность идти по конкретному пути к абстрактному (то есть, не только недостижимому, но и невообразимому) пункту назначения.

Как только пункт назначения обретает конкретные черты, путь искривляется и замусоривается, но это уже совсем другая история.

При этом наличие конкретных промежуточных целей – совершенно нормальное, обычное дело, при условии, что мы осознаем промежуточность (а также необязательность и взаимозаменяемость) этих целей.

Об этом невозможно, да и не нужно писать; об этом совершенно необходимо написать – например, сегодня в половине пятого утра, после долгого дня, который начался относительно рано, и спать теперь хочется так, что со стула уже не встать. Ай, ладно, подумаешь, великое дело – стул.

Давным-давно в Гокарне пестрая толпа пронесла меня мимо какого-то местного святого, или не святого, кто его теперь разберет, но благословения дед раздавал налево и направо, всем, кто под руку подвернется. Местным жителям в праздничных одеждах, туристам в шортах, зимующим дауншифтерам в цветных балахонах из окрестных лавок. А мне вдруг отчетливо и негромко сказал: «Тебе надо не получать благословения, а раздавать их».

(На каком языке он это сказал – отдельный вопрос. Тогда было проще решить, что на английском, а теперь я думаю, что на никаком. То есть, на том языке, ради которого строили Вавилонскую башню, наяву, как известно, не достроили, но мало кто знает, что работа была закончена во сне, и с тех пор мы все говорим на одном языке – в некоторых снах, некоторых видениях и прочих обычных ситуациях, о которых вот прямо сейчас вы, взрослые рациональные люди, читающие все это на работе, чтобы ненадолго отвлечься, слышать не желаете, но это не беда, когда уснем, все вспомним, когда умрем – тем более, поэтому вполне можно позволить себе делать вид, будто мы не понимаем, о чем вообще речь.)

Так вот. У меня в тот момент и мысли не было получать, какое-то там благословение, меня просто так вынесло к этому деду, звонкому как фонтан, горячему, как солнечный воздух, но в первый момент стало немного обидно, потому что я, конечно, великий герой и добрый конунг, но живой человек, и иногда мне очень хочется, чтобы меня взяли на ручки – хотя бы в метафизическом смысле. То есть, особенно в метафизическом. А тут – шиш тебе, а не благословение, иди вон раздавай, нечего тут примазываться. Ишь!

Но сегодня все это мне вспомнилось в момент пробуждения, прям подбросило, и дошло наконец, что это – метод. Который подходит не только мне, а вообще всем. Раздавать благословения по мере скромных своих сил и возможностей, не заботясь о том, доведется ли получить хоть одно. Творить своими руками маленькие, не противоречащие законам физики чудеса, а не ждать, пока придет добрый волшебник обоюбого пола, чтобы осчастливить единственных и неповторимых нас.

Ну или ладно, не чудеса. Просто делать разные дела, незначительные, но прекрасные, избыточные, то есть не предназначенные для выживания, бескорыстные, то есть не для того, чтобы понравиться другим людям, бесстрашные – без оглядки на общественное мнение по данному вопросу.

Вообще – без оглядки.

Единственное, на что имеет смысл оглядываться – это на собственное сердце. Потому что очень часто оказывается, что мы убежали от него далеко вперед, а оно осталось где-нибудь в наших пяти годах, оглядывается по сторонам, хочет на ручки. Тоже в метафизическом смысле, как я.

Потому что я и есть дурацкое сердце человечества, безнадежно отставшее от остального организма. Застрявшее в пяти примерно годах, в панамке какой-нибудь на бессмысленной башке, стоит, вертит головой – эй, ты где? Я же тут!

И как же вам повезло, что я умею писать.

На самом деле нас таких у тебя, уважаемое человечество, много. Так что вряд ли ты от нас убежишь достаточно далеко, чтобы можно было спокойно продолжать грести под себя корм, обижать слабых и предаваться общественно одобряемому унынию. То есть, совершенно не сомневаюсь, что именно этому ты себя и посвятишь, но «спокойно» – вот уж фиг. Потому что сердце твое, дорогое мое человечество, занято в этот момент совершенно иными делами. И при этом оно, заметь, остается твоим.

В этом, строго говоря, и состоит благословление в единственной доступной мне на сегодняшний день форме. А там – поглядим. Как пойдет.

Один из кардинальных ужасов моей жизни – эти ваши анекдоты, построенные на как бы общеизвестных аксиомах, которые кажутся мне не просто неочевидными, но абсурдными.

Вот например анекдоты про тещу. Мне как было в детстве непонятно, почему надо смеяться при описании конфликтов каких-то странных людей с матерями их жен, так и до сих пор, честно говоря, не въезжаю. Конфликт – это вообще не смешно, а неприятно. А все женщины-чьи-нибудь-тещи, встречавшиеся мне в жизни, были очень клевые. Начиная с моей бабушки Нади, которая навещала в военном госпитале своего раненого мужа и так понравилась его соседу по палате, что тот твердо решил жениться на одной из ее дочерей, чтобы стать членом семьи, где все называют друг друга «любчик» и не просто называют, а действительно любят – надо же! Так бывает?!

Этот сосед по палате потом, двадцать лет спустя, будет иметь несчастье стать моим отцом. Но это не очень страшно, все остальное у него в жизни сложилось неплохо.

Теща – лучший трофей, который мой папа, осиротевший младенцем в Гражданскую, добыл на Второй Мировой. Еще были какие-то китайские сервизы и платья из крепдешина для жены и все той же тещи, но они прошли, как с белых яблонь дым. И бабушка Надя прошла, и обе ее дочки, и папа потом тоже прошел.

Таков круговорот людей в природе.

А с белых яблонь дым у нас как раз вот прямо сейчас. Кроме него имеют место с белых каштанов дым, с белой сирени дым, и с белой черемухи дым. Все они, надо понимать, тоже очень скоро пройдут, как трофейные крепдешинные платья. Но нам плевать, мы живем одним днем. И сегодняшний, к примеру, был так хорош, что даже если оказался бы последним, то и не жалко совсем.

Но он совершенно точно не последний. Мы проверяли.

«Мы проверяли» – это не то чтобы шутка. У меня вообще довольно хреново с этим вашим юмором. Правда, многие люди смеются, когда читают, что я пишу. И даже когда говорю вслух о чем-то скучном типа погоды, они смеются все равно. Но это не юмор, это гипноз. Чтобы

парализовать жертву, а потом съесть. Но я никого не ем, потому что не люблю готовить, так что читатели в безопасности. И слушатели тоже.

Так вот, что касается непоследнего дня.

Штука в том, что иногда человек может развернуться лицом к будущему и увидеть там разные вещи. Некоторые видят апокалипсис и за это их записывают в пророки. А я вижу только длинную сияющую дорогу, белую и дымную, как яблоневый цвет, из которого состоит все.

Все, кроме анекдотов про тещу и еще про мужа-из-командировки. Потому что они состоят из внутричерепного говна. Зато детские анекдоты про грузина-жопарезина и котенка Трусики священы, они – чистый дзен.

Мой папа, кстати, часто просил меня рассказывать дворовые анекдоты (которые про котенка Трусики как раз) и страшно ржал. Он не знал слова «дзен», но был неплохим практиком. В отличие от нас, знающие многие слова и трюндящих их всеу.

В промежутках между анекдотами про тещу.

Хуже анекдотов про тещу только эти ваши праздники, потому что они позволяют не думать о важных вещах триста шестьдесят четыре дня в году. Разик отстрелялись, и хватит.

А вот не хватит, ни фига. Каждый день надо вмещать в себя весь мир – с войной, чумой, мором, гладом, яблоневым дымом, черемуховыми холодами, душистыми майскими ночами, необходимостью защищать своих живых и провожать своих мертвых, с этой невыразимой бесконечной любовью, данной нам если не в ощущениях, то хотя бы в крепдешиновых платьях и ванильных сухариках, которые мы не едим в самый голодный день, а кладем в карман и несем кому-нибудь – угостить.

Потому что тот, кто вмещает в себя весь мир и ванильный сухарик в придачу, никогда не пройдет насовсем.

Один человек занимался осознанными сновидениями. Занимался долго и упорно, предположим, тридцать лет и три года. Преуспел, научился всем премудростям, отрастил себе тело сновидения, толстое, розовое и красивое.

После чего человек стал бегать по изводившим его всю жизнь кошмарам, крутить им сочные кукиши и дразниться: «бе-бе-бе!»

Другой человек тоже занимался осознанными сновидениями, долго и упорно, тридцать лет и три года. Научившись же всему, чему следует, в одном из осознанных сновидений устроил себе отличную спальню, притащил подушку с одеялом, каждый день засыпал туда, а уж там дрых себе в свое удовольствие, просто так.

Одно из самых сильных (часто неосознанных) желаний современного человека – оказаться в ситуации, когда он ничего не может испортить. Никакими своими действиями.

Почти недостижимое в рамках текущей культуры ощущение. Пение пьяным хором, секс в наручниках и вхождение во вдохновенный поток – вот первые пришедшие в голову варианты. Наверное есть еще, но их немного.

Окружение – влияет. И изменяет нас, хотим мы того или нет.

Штука даже не в том, что трудно жить среди алкоголиков и сохранять трезвость. Или, скажем, соблюдать строгую диету в окружении обжор. Штука не в том, что нам станут дружно говорить, как надо жить и какое мнение иметь по всякому вопросу, и мы тут же послушаемся, как глупые дураки.

Окружение изменяет нас на более тонком и глубоком уровне. Постепенно и незаметно.

Есть, конечно, люди с повышенной сопротивляемостью среде. Я как раз из их числа, очень хорошо знаю, как все происходит, и могу сказать: на то, чтобы не поддаться влиянию – не только и не столько социальному, а вот этому глубинному, незаметному – уходит хренова прорва сил. Так много, что некоторые из нас ложатся и умирают молодыми, а некоторые просто больше ничего не делают, и не потому что не хотят, а потому что действительно не могут. Это – ну как сдерживать всем телом напор воды из трубы, которую вы прикрыли собой, и одновременно вышивать бисером. И не пять минут напоказ, а годами.

В юности у меня не было сил почти ни на что. Даже заварить чай или переодеться – это было огромное, очень нежелательное, вынужденное напряжение. Силы были только на те занятия, которые сами приносили силу – искусство, например. Или прогулки. Но это, как понимаем мы, подключение внешнего ресурса, а не задействование собственного.

А те, у кого сопротивляемость не повышенная, просто потихоньку изменяются в направлении, заданном окружением. Которое у почти всякого человека вполне случайно, будем честны.

Поэтому окружение – это очень важно. Причем даже не с точки зрения «любят-ценят-защищают-мучают-не понимают-воспитывают-поддерживают-чешут спинку». Все это, конечно, имеет значение, но на (условной) поверхности.

Штука в том, что мы в это постепенно превращаемся, точка.

Чем раньше человек оглядит свой ближний круг и задаст себе вопрос: «Хочу ли я в это превратиться?» – тем меньшая часть жизнь будет потрачена зря, вот и все.

Искренний ответ «да» свидетельствует, что ответивший – один из самых счастливых людей в мире. В прошлой жизни он, вероятно, спас от буки сто голодных сирот, и теперь заживо вознесен на небеса.

Если же превращаться в такое вам совсем не хочется – что ж, кто предупрежден, вооружен.

И, да. Одиночество – это в большинстве случаев означает «больше свободного времени для своих дел». И при этом оно почти недостижимо, можно заранее не пугаться.

Описывая самые обычные места, я вижу немного больше, чем другие свидетели. Это вовсе не означает, будто я что-то выдумываю, или, к примеру, бурно галлюцинирую.

Это как если бы два человека описывали одну и ту же комнату, и один ограничился описанием интерьера, а второй порылся бы в шкафах, почитал бы хозяйские письма, нашел бы прадедов клад под половицами, а потом описал все свои впечатления в комплексе. Не забывая, конечно, и об интерьере – он тоже важен.

И в этом смысле я просто гиперреалист.

В моих историях реальность предстает перед читателем – не во всей своей полноте, конечно, во всей полноте ее разве что ангелы, заполняющие каждый день прописи бытия, могут описать. Но я к этому стремлюсь.

Оранжевыми чернилами

Если идти домой по улице, где один за другим загораются оранжевые фонари, можно протягивать руку полукруглой ладонью вверх и собирать избыток света, как мандарины – раз, два, еще, еще.

И прикарманивать.

Потом, уже дома, выясняется, что оранжевым фонарным светом можно писать вместо чернил, не закончившихся, конечно, но изрядно загустевших во внутренней авторучке. Свет – те же (внутренние) чернила, только еще лучше.

Можно писать.

От всех этих сентябрьских дождей, хризантем и мокрых каштанов, запахов, свежих, горько-сладких, обморочно звенящих в ушах, обычного набора заключенного (в человеческом теле) строгого осеннего режима, почти невыносимо болит сердце, вынужденное расти, расширяться, чтобы вместить все это предзимнее великолепие мира.

Все равно не дорастет. Не вместит. Но надо стараться. Вернее, не «надо» даже, оно – само.

Накануне всякой зимы я прыгаю в пропасть. Затяжной прыжок, веселый и горький, никогда заранее не знаешь, кто откроет глаза там, на дне, весной.

Ну вот, дальше тянуть некуда. Давай. Прямо сейчас.

Очень просто быть умным пессимистом. Проще вообще ничего не придумаешь: сел на диван, включил гениальный супермозг, обработал жизненный опыт, огляделся вокруг – ААААААААА! УЖОСНАХ! Все, дело сделано.

Быть глупым пессимистом ровно так же просто. Послушал в детстве, чего взрослые говорят. Потом вышел во двор, послушал, чего говорят старшие мальчишки и девчонки. Потом получил в рыло, чтобы не подслушивал. Потом вырос большой, еще послушал, еще пару раз в рыло получил, и – voila! Допер наконец, насколько ужасен человеческий наш удел. Даже гениальный супермозг включать не надо, и так отлично получилось.

Быть глупым оптимистом тоже не очень сложно. Но тут одно из двух – или сразу родился таким счастливым, что в рыло ни разу не получил, или так много добрых сказок в детстве читал, что даже «в рыло» не помогло.

А еще можно пойти к первому попавшемуся гуру. Или просто базарную гадалку поймать в хорошем настроении, чтобы счастливую жизнь предсказала – тоже отлично работает, если гениальный супермозг не включать. Гениальный супермозг – он, зараза такая, весь кайф обломает. Но если у нас его нет, все в порядке.

А вот быть умным оптимистом практически невозможно. Невыполнимая задача – со всей этой херней взлететь. Но если кто имел несчастье родиться на свет с гениальным супермозгом, имейте в виду – именно для этого он и выдан. Зараза такая.

Потому что необходимость делать невозможное никто, извините, не отменял. И не отменит. Без делания невозможного жизнь вообще не в зачет.

II

Пауль Клее, чье творчество с равным основанием относят ко всем главным художественным течениям XX века, живописец, график и теоретик искусства, писал: «В былое время люди рисовали вещи, которые можно было увидеть на земле. Вещи, на которые им было приятно смотреть и на которые они хотели бы смотреть. Сейчас, рисуя, мы воссоздаем несомненную реальность видимых вещей и, делая так, выражаем веру, что в отношении к миру в целом видимое – только вырванный из него кусок, а другие истины, в большинстве своем, скрыты».

Пока о «скрытых истинах», то есть, о невидимой части реального мира говорит живописец, зритель остается, так сказать, в безопасности. Какие бы «скрытые истины» ни открылись ему на полотне, зритель, если пожелает, может игнорировать это откровение, списать увиденное на живость художественного воображения автора, и жить, как прежде. В этом случае фундамент его представлений о мире не будет поколеблен. Земля не уйдет из-под ног. Небо не станет ближе.

А значит, чуда (ради которого и дано нам искусство) не случится.

Какая жалость.

Игнорировать художественное высказывание фотографа более затруднительно. Сколько бы теоретических работ о художественной фотографии ни было написано специалистами (и внимательно прочитано нами), непросто избавиться от отношения к фотографии как к документу.

К тому, что можно нарисовать то, чего на самом деле нет, мы давно привыкли. Однако идея сфотографировать то, чего нет, даже сейчас, в эпоху фотошопа, кажется рядовому зрителю вполне абсурдной.

И хорошо что так.

Потому что фотография (та фотография, о которой имеет смысл говорить здесь и сейчас) нужна нам именно в качестве моста между видимой и невидимой составляющими мира. Понятно, что все искусство в целом – такой мост, но традиционное отношение к фотографии как к документу делает ее идеальным инструментом. Фотографу верят как никому другому.

А нам того и надо.

Полное доверие – именно то настроение, в котором следует встречаться лицом к лицу с искусством. Это, я знаю, нелегко. Современному человеку нужно быть очень храбрым, чтобы довериться кому (и чему) бы то ни было. В том числе, художнику.

Но только доверившийся получит то, ради чего было создано искусство – весь мир. Видимый и невидимый. Весь целиком. Все, что лежит под солнцем.

«Все, что лежит под солнцем» – такое определение дал искусству немецкий художник Йозеф Бойс.

Нельзя сказать, будто после его слов мир внезапно изменился. Во всяком случае, с неба не посыпались чудесные этикетки с надписью «Art», не приклеились по собственной воле к чему ни попадя, и случайные прохожие не пали – кто в обморок, кто на колени – ошеломленные официальным открытием выставки Творца.

И все же высказывание Бойса – одно из важнейших культурных событий двадцатого века. Потому что благодаря ему стало возможно говорить об искусстве некоторые простые и важные вещи. Настолько важные, что без них не имела бы смысла не только работа любого художника, но и жизнь человека на этой земле. Настолько простые, что точные формулировки сродни детскому лепету.

Штука в том, что всякий по-настоящему серьезный разговор об искусстве и должен, в идеале, быть детским лепетом. Поскольку искусство само по себе – детский лепет. Или даже крик младенца, впервые в жизни оказавшегося у распахнутого окна, за которым – весь мир.

Стать таким младенцем, увидеть мир как впервые, осознать себя малой, но совершенно необходимой частью этой мистерии – величайшее счастье, какое может выпасть не только художнику, но и зрителю. Всякая встреча с искусством – шанс пережить подобный опыт. А потом проживать его снова и снова всякий раз, как только нам покажется, будто мы знаем хоть что-то – о мире и о себе.

Писать⁵ имеет смысл только как в первый день творения, с единственным намерением – чтобы было (то, чего раньше не было).

Все остальные соображения только мешают, а работа, к которой они понуждают, утомляет и изнашивает.

По главной улице с оркестром

Так все и было, по главной улице, то есть, по проспекту имени князя-засони-Гедиминаса шел детский духовой оркестр, дети примерно от девяти до шестнадцати дудели, а девочки-подростки в ярких платьях организованно и ритмично размахивали жезлами, вскидывали ножки в красных и белых башмачках.

И вот эта глупость, конечно, всякий раз прошибает меня до слез – музыканты, дети, девочки, ножки, яркие цвета, ритм, ослепительный блеск меди, торжество всего самого недолговечного: звука, цвета, дыхания, радости, многообещающей незавершенности форм.

Такая очень дурная, совершенно неэффективная, но завораживающая магия эти духовые оркестры, особенно детские. Такой нелогичный, избыточный, стратегически непродуманный вызов смерти – краткая, как выдох, возможность не знать о ней, или даже невозможность о ней знать, пока звучат трубы и взлетают ослепительные ножки, душа устремляется к небу, как йо-йо, мячик на резиночке, сейчас вернется обратно, никуда не денется, ррраз – и снова тут. Не пир, но танцульки во время чумы, которая – всегда. Которая – условие задачи. Которая – почти все.

⁵ Тут может быть любой глагол, описывающий действие, так или иначе связанное с созиданием.

Не победа над смертью, какая уж тут победа. Но радостное утверждение жизни вопреки очевидному. Глупый самообман, который – священная правда. Целых пять, или сколько там минут, пока играет музыка, никакой другой правды быть не может, вот в чем штука. И какая разница, что было до, и что будет потом.

До слез прошибает, конечно. Хорошо, что милосердный господь специально для таких случаев изобрел солнечные очки и самолично раздал их наиболее вдохновенным придуркам, чтобы не пугали прочий уличный народ, вприпрыжку бегущий по тротуарам за шествующим по мостовой оркестром. Чтобы не нарушали священный покой всех этих временно, но с полной отдачей бессмертных.

Какой-то такой специальный дурной европейский дзен все это – уличные оркестры, ярмарки, карнавалы. Какой-то наш местный, локальный способ дурковать на радость вселенной. Потому что она явно и недвусмысленно ликует, пока идет по главной улице детский оркестр, видно же, такое шило в мешке не утаишь.

По пунктам

1. Человек создан для летней ночи. По крайней мере, если этот человек я.
2. Лучшее место на земле – автострада, проходящая между миром людей и миром духов. Там очень спокойно. И даже в мир людей оттуда возвращаешься с легким сердцем.
3. Легкое сердце – вот что следует приносить с собой из всякого путешествия. Это сокровище, как водится, охраняет дракон. Но если попросить, он отдаст.
4. Если вечером пытаешься подсчитать число городов, в которых побывал сегодня, и сбиваешься, это означает, что у тебя был очень неплохой день. Один из тех, ради которых придумали жизнь на земле. А не для вот этого всякого мутного хитровыкрученного спама из преисподней.
5. Когда вырасту, я хочу быть ангелом смерти, рядом с которым не страшно.
6. Если такой должности до сих пор нет, я буду требовать и стоять на своем. Потому что это важнее всего для человека – не бояться в самом конце. Хорошо бы научиться не бояться заранее, но с этим мало кто справляется, будем честны.
7. Есть только один способ пребывать в безопасности – не бояться. Остальные способы – ловушки. Внешней безопасности не бывает вообще. Кто вам такую глупость сказал.
8. Бог есть дружба – в актуальном контексте, на фоне утраты значений важнейших из слов это становится все более точным определением. Кто хотя бы раз в жизни принимал участие в высекании искр, которые рождаются из соприкосновения существ, обитающих в нашей глубине, того и Царствие Небесное.
9. Многие из нас – очень хорошие зайцы, хотя вот так на первый взгляд и не скажешь.

По проспекту Гедиминаса, который я ощущаю продолжением своего двора (потому что сперва почти неизбежно выходишь туда, а потом уже думаешь, куда дальше), каждый

день ходят кришнаиты. Довольно часто мы с кришнаитами оказываемся на проспекте одновременно.

Я очень люблю встречать на проспекте Гедиминаса кришнаитов. В первую очередь потому, что я этих самых кришнаитов совершенно не перевариваю.

Во-первых, я вообще не люблю секты. Во-вторых, когда-то много лет назад мне в руки попала «Бхагават Гита» (как она есть) – видимо, в каком-то дебильном изводе, типа «для начинающих». И сперва мне было просто не очень понятно, почему уважаемый автор книги разговаривает со мной как с совсем безнадежным тупым скотом, запугивая меня нехорошими перерождениями (с картинками), ну а странице на шестой, что ли, меня наконец замутило, и на этом мое знакомство с сектантской литературой благополучно закончилось. В-третьих, мне вообще кажется нелепым и несуразным, когда восточные игрушки тянут на Запад, не конвертируя, от этого они обесмысливаются, а жалко, потому что в основе игрушек, под экзотической декоративной мишурой лежат разные годные штуки, докапываться до которых при такой подаче – спасибо, что-то не очень хочется. В-четвертых, у нас в юности был один знакомый – ну вот прям совсем унылый и ужасный, из тех, над кем даже смеяться надоедает почти сразу. Потому что неинтересно. И о нем известно, что он, в итоге, записался в кришнаиты. И теперь мне, конечно же, в глубине души кажется, будто они все должны быть примерно такие же.

Короче. Очень привычно и удобно для меня не любить кришнаитов, так уж все удачно совпало.

И всякий раз когда я вижу, как кришнаиты с песнями и плясками идут по проспекту Гедиминаса, мой опыт говорит: «Это фу!» Мой критический ум говорит: «Это не просто «фу», это ФУ ВАЩЕ!» «И вовсе не «фу», – говорит моя личность. – Добрее надо быть. Терпимее! Это не «фу», а просто одна из разновидностей «ойбля», разницу понимать надо».

«Вы все совершенно правы, – говорю я им. – Спасибо, мои дорогие. А теперь цыц!»

И выключаю эту толпу, как радио. А потом просто слушаю музыку и смотрю на приплясывающих людей в красивой одежде. Как будто вообще понятия не имею, кто они такие, и откуда взялись. Поэтому вижу только то, что вижу, воспринимаю только то, что воспринимаю – развеселый мини-карнавал с песнями посреди пасмурного буднего дня – и от этого на морде лица моего прорастает дебильная улыбка, вечная спутница неизъяснимого блаженства. Даже не потому что сами по себе песни и пляски кришнаитов – вполне духоподъемная штука. Просто очень уж прекрасно и естественно пребывание вне контекста, пока критический ум, опыт и так называемая «личность» выполняют команду «цыц».

Всякий раз, когда я проделываю это упражнение на твердую «пятерку», проходящие мимо кришнаиты дают мне вкусную конфетку. Из чего, как понимаем мы, следует заключить, что я – хорошая собака.

Подставляя себя под чужое внимание, мы неизбежно становимся объектами, подвергающимися постоянной (обычно совершенно незаметной) трансформации.

Правила техники безопасности такие:

– Не домогаться избыточного внимания к себе. Это наркотик, со всеми вытекающими последствиями (эйфория, ломки, ущерб психике и здоровью).

Минус состоит в том, что исключить дозу не получится, только уменьшить. И даже бегство на необитаемый остров не воспрепятствует оставшимся дома думать о нас все, что они

пожелают. Но все равно следует делать в этом направлении, что получится. В смысле, воздерживаться от лишней дозы внимания всегда, когда есть хоть малейший выбор.

– Корректировать направленное на вас внимание. Грубо говоря, выдавать наружу информацию о тех своих качествах и свойствах, усиление которых представляется вам полезным. И скрывать информацию о качествах, развитие которых представляется вам вредным. Простейший пример: человек, которого беспокоит собственный возраст, должен поменьше рассказывать о признаках приближающейся старости и побольше о признаках никуда не девшейся молодости. Когда я говорю «рассказывать», я имею в виду все доступные нам языки, включая язык тела, стиля, поступков и так далее.

Минус тут такой, что человек далеко не всегда правильно понимает, развитие каких качеств ему полезно, а каких вредно. Ну и необходимыми языками мало кто владеет на должном уровне. Но ошибки и неудачи возможны в любом деле, это не означает, что лучше не делать ничего.

– Постоянно осознавать, как влияет на вас чужое внимание. Осознание, собственно, идеальный выход из всех ситуаций, какие только можно вообразить.

Минус тут такой, что термин «осознание» многие автоматически расшифровывают как разновидность думания, а я никак не могу изобрести формулировку, которая позволит почувствовать разницу. Ну, если я скажу, что осознание – это выстраивание внятной дистанции между смертной и бессмертной составляющими человека и одновременно прокладывание коммуникационного канала между ними, это многое объяснит?

То-то же.

Впору объявлять тендер.

Подушки

В детстве мне приходилось часто ездить на поездах. Мы всегда ехали до конечной станции, то в Одессу, то в Берлин. На конечных станциях поезда стоят подолгу. Но родители все равно спешили выйти, говорили, надо торопиться, потому что поезд сейчас поедет в депо. А в депо пассажирам уезжать никак нельзя.

Это загадочное «депо», о котором ничего толком не было известно, казалось мне тогда таинственным заколдованным местом, куда не пускают обычных пассажиров, потому что поезда уезжают туда навсегда. А людям никуда нельзя уезжать навсегда, навсегда только умирают, это мне довольно рано объяснили.

В юности мне нравилось гулять среди запасных путей. Ходить по рельсам, рвать выросшие на шпалах цветы, заглядывать в окна пустых вагонов. В некоторых купе на полках лежали груды подушек, они были похожи на туго набитые мешки.

В юности мне было ясно, что в этих мешках хранятся сны, которые приснились пассажирам в дороге. Эти сны по праву принадлежат поездам, поэтому они остаются в депо – навсегда. А люди быстро забывают, что им приснилось, пока они ехали.

Если совсем честно, я до сих пор хочу пробраться в депо и выкрасть партию этих чертовых подушек.

Пока мифы еще маленькие, их вполне можно кормить одной болтовней. Как младенцев смесями, или чем их там кормят.

Но всегда неизбежно наступает момент, когда надо начинать кормить мифы поступками. И этот момент важно не пропустить. Даже не потому, что голодный миф вполне может захряпать вас без майонеза (а он – может). А просто потому что в хорошем хозяйстве никто не должен голодать.

Пора поговорить о магии текста и о месте текста в магии. Простым и, насколько это вообще в данном случае возможно, понятным языком. Чтобы никому не показалось, будто это у нас тут красивые метафоры, мечтательные иносказания, экзальтированные преувеличения и прочий полет фантазии на крыльях воображения.

Так вот, не обольщайтесь. Речь о той самой магии, которая – смысл и соль бытия, инструмент преобразования мира, внутреннего и (как следствие) внешнего. И за разговоры о которой вас засмеют коллеги по работе, а некоторые родные и близкие не на шутку встревожатся, заподозрив неладное и заранее прикинув в уме предстоящие хлопоты и расходы на докторов.

Штука в том, что литература как таковая меня уже какое-то время не интересует вовсе. Точнее, интересует не больше, чем, скажем, сливочные вафли, которые я пару раз в год грызу с чаем – необязательное удовольствие родом из детства, от которого можно вовсе отказаться, но зачем.

Зато меня очень интересует магическая составляющая литературы. Которая или есть, или нет. Мне ее наличие или отсутствие всегда очевидно по умолчанию; как все очевидные вещи объяснять это чрезвычайно трудно. Строго говоря, вовсе невозможно, но когда это меня останавливало.

Сейчас я буду говорить вещи, которые вполне могут выглядеть пафосными банальностями – до тех пор, пока не начнешь деятельно их проживать. Практиковать, иначе говоря. Хотелось бы, конечно, иметь в своем распоряжении менее испорченный дурными ассоциациями, злоупотреблениями и искажениями смыслов язык, но уж – какой есть.

– Творчество (в современном понимании этого слова, т.е. человеческая деятельность, приводящая к появлению новых произведений искусства) появилось когда люди перестали практиковать магию (когда регулярные магические практики перестали быть нормой). Как безопасная подмена, позволяющая прикрыть бездонную голодную дыру, зияющую во всяком человеческом существе, в том самом месте, где прежде у наших предков была магия – непосредственная живая связь с Духом. С немислимой, неназываемой, непознаваемой силой, пронизывающей все сущее. С силой, естественная часть и естественное следствие которой – мы.

И одновременно – внимание! – как возможность продолжать практиковать магию в условиях, когда ее (магии) как бы временно нет вовсе. То есть, тренировать ту часть себя (и представителей возможной аудитории), которая отвечает за связь с Духом...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.